КАССАНДРА ЛЭЙТС. НЕИЗБЕЖНОСТЬ. КНИГА 2



СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

Кассандра Лэйтс

Неизбежность. Книга 2. Одержимость

«Автор»
2026

Лэйтс К.

Неизбежность. Книга 2. Одержимость / К. Лэйтс — «Автор», 2026

Мне двадцать один год и я думал, что знаю, что такое власть. Я ошибался.Меня зовут Диамант, герцог Валентайн. Глава Священной Инквизиции, правитель Колтрейна, человек, чьё имя произносят шёпотом. Я привык, что люди ломаются под моими руками. Что боль — это искусство, а наслаждение — лишь ещё один способ подчинить.А потом в моих подземельях оказалась Сильвана Этвуд.Дочь мятежника. Девушка с платиновой косой и зелёными глазами, в которых не было страха — только ненависть. Ей было девятнадцать. Я пытал её, желая сломать. Я дал ей клеймо, ошейник и место у своих ног. Я думал, что она станет очередной игрушкой, которую я изучу и отброшу.Но она не сломалась. Она приняла мою тьму — и ответила своей.Чем дольше она рядом, тем чаще я ловлю себя на том, что смотрю на неё не как на пешку. Она видит во мне то, чего не видят другие. И это пугает меня сильнее, чем любая война. Я не знаю, чем закончится эта партия. Знаю только, что впервые в жизни я не хочу, чтобы она заканчивалась.

© Лэйтс К., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 20
Глава 3 40

Кассандра Лэйтс
Неизбежность. Книга 2. Одержимость

Глава 1

КНИГА 2
ОДЕРЖИМОСТЬ

И всё получится, и всё завертится,
Сначала весело, потом повесишься,
И всё завертится, петля закрутится,
Сначала стерпится, потом полюбится.
Группа Агата Кристи

Глава 1

«Она хотела узнать его душу. Он предложил начать с тела — и посмотреть, как далеко она готова зайти».

Сильвана
1

Я смотрела во двор Рокуэлла и не видела его.

Пальцы рассеянно гладили бархат шторы. Ткань отзывалась под ладонью вкрадчивой, почти живой мягкостью. И это прикосновение казалось насмешкой: за стеклом реальность сжимала сердце в тиски, не давая вздохнуть, а здесь всё дышало покоем и роскошью.

За окном сгущались сумерки, небо наливалось пурпуром и тёмным золотом. Кровь и золото. Метафора отдавалась внутри колотой раной. Острой и неожиданной.

Воспоминания накрывали без спроса: я снова видела их спины. Прямые, несгибаемые. Стражники уводили отца и Теда. Отец не оборачивался, но я чувствовала его взгляд затылком. Он жёг сильнее всякого клейма: разочарование, боль, любовь, которая уже не могла ничего исправить.

Я вспоминала его лицо: осунувшееся, бледное, с потухшим взглядом. Как он поднял руку, будто хотел что-то сказать, — и опустил. Как сгорбились его плечи, словно на них разом обрушилась вся тяжесть прожитых лет. Он не винил меня. И от этого было не легче, а тяжелее. Потому что его любовь была без условий. А моя — с условиями. С одним главным условием, у которого было имя.

Тед.

Я вспоминала, как он сжал кулаки, когда понял, что я не поеду. Как его голос сорвался на крик не от злости, а от боли. Он любил меня по-настоящему. Той любовью, которой я не заслуживала. И от осознания этого в груди разрасталась чёрная, холодная пустота.

Его слова, резкие, как удар хлыста, звучали во мне: «Ты променяла всё, за что боролась, и всё, во что верила, на член красавца Инквизитора». Я вздрогнула, обхватила плечи руками. Слова всё ещё были здесь, внутри. Въелись глубже, чем хотелось. Разъедали, как кислота.

Пальцы дрожали. Я сжимала их в кулаки до боли, до побелевших костяшек. Но даже в этой боли не было сомнений. За словами Теда, за его яростью и обидой я не слышала ничего, что заставило бы меня повернуть назад. Он говорил о предательстве, о борьбе, о том, во что мы верили. А я слушала и не чувствовала ничего, кроме усталости.

Всё, за что он боролся, осталось там, в прошлой жизни. В жизни, где я была дочерью мятежника и невестой героя. В жизни, которой у меня больше нет.

А потом — Диамант. Его лицо. Бесстрастное, почти скучающее. «Мы увидимся позже». Ровно. Пусто. Так, словно я только что не перечеркнула собственную жизнь одним решением.

Но даже тогда, стоя посреди этой чужой роскоши, я не чувствовала себя предательницей. Не перед ними. Не перед собой. Это не каприз, не слабость, не помутнение рассудка. То, что сидело внутри, было глубже любых объяснений. Оно пустило корни, и я не могла его вырвать. И, если честно, больше не хотела.

Я не знала, как назвать это чувство: тёмное, тягучее, как мёд, смешанный с полынью. Похожее на голод. Не тела — чего-то более древнего, более отчаянного. Я хотела быть рядом с ним. Не просто в его постели — рядом: слышать его голос, видеть, как он смотрит на меня. Даже когда он злился, особенно когда злился, я чувствовала себя живой.

Говорить Диаманту о чувствах бесполезно. Я понимала это с ледяной ясностью: он видел во мне украшение, забавную зверушку, трофей, который можно сменить, когда наскучит. Его мир был построен на расчёте и власти, на плотских удовольствиях, которые он брал и отшвыривал, не оглядываясь.

И всё же я позволяла себе это мгновение: закатные отблески на стенах, запах воска и лаванды, тишина, в которой можно дышать, пока он не решил, что я исчерпала свою полезность.

Раздался тихий стук в дверь. Сердце пропустило удар, потом ещё один. Быстрый, рваный, как птица, бьющаяся о прутья клетки. Я сделала вдох, провела ладонью по юбке. Машинальный жест, попытка собраться.

Служанка склонила голову:

— Госпожа, Его Высочество ожидает вас на ужин.

В груди вспыхнуло что-то. Надежда? Страх? Болезненный симбиоз того и другого.

Я кивнула и вышла в коридор. Полумрак. Свечи роняли дрожащие блики на камень. Каждый шаг отдавался гулким эхом.

Я была пленницей в этом замке. Но пленницей по собственной воле: Диамант не удерживал меня, я выбрала сама. И от этого становилось ещё страшнее. Но страх был странный — он не сковывал, а подстёгивал, разгонял кровь, заставлял сердце биться чаще, а кожу острее чувствовать каждое прикосновение воздуха.

Я шла к нему, и внутри всё сжималось в тугой, горячий узел. Я не знала, что он скажет, не знала, что сделает, не знала, станет ли этот вечер очередной игрой или чем-то другим. Но я хотела увидеть его.

У двери в столовую я остановилась. Сжала кулаки. Пульс бился в висках и в кончиках пальцев. Глубокий вдох. Плечи расправлены.

Я толкнула дверь. Решительно, без колебаний. И переступила порог.

Впереди неизвестность, полная ловушек. Но где-то глубоко, под страхом и стыдом, теплилась упрямая мысль: если он посмотрит на меня так, как вчера в спальне и сегодня утром, я буду бороться. За то, что между нами. За шанс, который ещё не угас.

2

Столовая встретила меня холодным величием. Высокие сводчатые потолки терялись в полумраке, а массивные колонны из серого камня тянули ко мне длинные угловатые тени — не защитить, а испытать, словно хотели схватить за плечи и столкнуть в пропасть. Воздух здесь был другой: плотный, прохладный, пропитанный запахом старого дерева, воска и чуть горьковатого дыма. Я вдохнула, и он осел на языке, как пепел.

По стенам, обшитым тёмным дубом, висели гобелены с выцветшими сценами охоты. Всадники и гончие застыли в вечной погоне и, казалось, следили за каждым моим шагом. Оценивали, готовились вынести приговор.

В центре зала, точно остров в ледяном море, стоял длинный стол из чёрного дерева, отполированный до зеркального блеска. Свечи в высоких серебряных подсвечниках роняли на его поверхность дрожащие блики. Свет пульсировал, создавая иллюзию жизни в этом царстве камня и тишины.

Диамант сидел в резном кресле с высокой спинкой, будто на троне. Чёрная шёлковая рубашка с серебряной вышивкой делала его частью мрачного интерьера. Такой же неприступный, словно высеченный из того же камня, что и колонны.

Когда я переступила порог, он медленно поднял взгляд. В его глазах мелькнуло что-то среднее между интересом и насмешкой. Холодный, расчётливый блеск. Он уже знал, что произойдёт. Он всегда знал. А я лишь пешка в его партии.

Кивком он указал на кресло напротив. Не приглашение. Приказ, облечённый в форму вежливости.

Я сделала несколько шагов. Ткань платья скользнула по бёдрам, и это лёгкое, почти незаметное прикосновение отдалось в позвоночнике. Под тонким шёлком пробежала дрожь. Не от холода. От напряжения. Каждое движение отдавалось гулким эхом, и стены, казалось, шептали: «Ты здесь чужая».

Села. Сжала край юбки. Пальцы предательски подрагивали. Я сидела неестественно прямо, вытянувшись в струну, будто ждала удара.

Диамант неспешно наполнил бокалы. Тёмно-рубиновое вино лилось с громким, почти оглушительным звуком. Капли падали в бездну. Я слышала, как оно ударялось о стекло, как потрескивали свечи. Каждый звук казался обострённым, слишком близким, слишком настоящим.

Он протянул мне бокал.

— За встречи, которые оставляют след.

Я почувствовала, как следы от плети запульсировали под платьем. Не болью. Жаром, словно его слова разбудили их. Хрусталь обжёг пальцы холодом. Я подняла глаза. Но его взгляд был непроницаем. Замёрзшее озеро: попробуй загляни под поверхность — и бездна поглотит без следа.

— Любопытно, — произнёс он. — Что оба наших… значимых момента связаны с игрой в насилие. Первый и последний. Скажи, Сильвана, какой из них тебе понравился больше?

Щёки вспыхнули. Жар разлился по скулам, спустился к шее, замер в ямке между ключиц. Я опустила взгляд на вино, прячась за рубиновой гладью. Смотрела на его пальцы, обхватившие бокал. Длинные, унизанные перстнями. Пальцы, которые знали моё тело лучше, чем я сама. И от этой мысли по спине пробежал озноб.

Бокал в моей руке дрогнул, но я заставляла себя не отводить глаз. Воспоминания нахлынули безжалостно: первый раз — страх, сковывающий каждую мышцу, мир, сузившийся до размеров комнаты, где он был богом, а я жертвой. Сегодня утром — иное: страх, смешанный с чем-то опьяняющим. Я переступила черту и обнаружила, что за ней — неизведанное, опасное, манящее.

— Оба, — ответила я тихо, но твёрдо. — Но сегодня… я не боялась так, как в первый раз.

Диамант усмехнулся краешком губ. Без тени тепла. Его пальцы замерли над столом. На мгновение мне показалось, что он хотел коснуться моего запястья, оставить ещё один след. Но он лишь постучал по столу. Незначительный жест. И вдруг он сказал мне больше слов: он ждал. Не просто ответа. Подтверждения, что я готова идти дальше. Принять правила.

— Значит, прогресс.

Он поднял бокал, так что свет свечи превратил вино в расплавленное золото.

— Тогда выпьем за жёсткий секс. За то, что ломает границы и открывает новые грани.

Бокалы соприкоснулись с тихим, почти интимным звоном. Этот звук отозвался в груди, пробежал вибрацией по позвоночнику. Вино обожгло горло. Терпкое, густое, с привкусом

вишни и дыма. Тепло растеклось по венам. Плечи расслабились. Сердце перестало колотиться так отчаянно.

Я не отводила взгляда: игра только начиналась.

— Но я надеюсь, ты поняла по вчерашнему разу, — продолжил он.

Его холодные глаза скользнули по моей фигуре. Я вздрогнула: следы от плети пульсировали под платьем тупой, сладкой болью. Запретный плод, который я сорвала сама, зная, что он отравит.

Он подался вперёд. Дыхание стало глубже и напряжённее. Я чувствовала его запах. Гвоздика, корица, что-то ещё, тёмное, тёплое, отчего низ живота сжимался.

— Это всего лишь лёгкое развлечение, — произнёс он. — И если уж ты решила остаться, я проведу тебя дальше. Настолько, насколько ты будешь способна, разумеется. Твой предел я вчера примерно понял, так что об этом не беспокойся.

Он холодно улыбнулся. С уверенностью человека, который знал цену каждой слабости и умел обратить её в оружие.

— Так что? Играем дальше?

3

Я медленно отставила бокал. Вино, ещё недавно манившее бархатистым ароматом и тёплым рубиновым сиянием, теперь жгло изнутри. Не огнём — едким напоминанием о том, как зыбко моё положение, о грани между подчинением и сопротивлением, которую я всё ещё пыталась удержать. Каждый глоток оставлял на языке привкус невысказанных вопросов. Тех, что я загоняла вглубь, как опасные секреты.

Я смотрела на Диаманта. И вдруг с пронзительной, почти болезненной ясностью поняла: за его словами, ласковыми или режущими, за прикосновениями, от которых то замирало сердце, то вспыхивала кровь, за той странной, пугающей близостью, что возникла между нами, скрывалась не пустота. Его одиночество было крепостью. Он сам возвёл её, камень за камнем, чтобы отгородиться от мира, от людей, от чувств.

Что заставило его выстроить эти стены? Ему двадцать один. Что сломало его так рано? Смерть матери? Равнодушие отца? Или он всегда был таким?

Я не знала. Не знала, чем он жил до Колтрейна. Не знала, что он чувствовал, когда оставался один. Что ему снилось. Чего он боялся. Кем он был до того, как стал герцогом, инквизитором, хозяином этого замка.

Я знала его руки. Знала его запах. Знала, как он дышал, когда был возбуждён, и как темнели его глаза, когда он злился. Знала, каким бывал его голос, когда он шептал мне в ухо, и каким — когда приказывал. Но я не знала его. И это знание, вернее, его отсутствие, вдруг стало невыносимым: пустота в груди, которую не заполняли ни его прикосновения, ни его власть, ни его тело. Я лежала с ним в одной постели, но он оставался незнакомцем. И от этого было больнее, чем от всего, что он делал со мной.

— Наверное, даже если бы я и хотела отказаться, то не смогла бы.

Я произнесла это тихо, но без тени покорности. С трезвым признанием реальности.

Пауза повисла между нами. Тяжёлая, звенящая, как натянутая до предела струна. Я слышала всё: биение собственного сердца, едва уловимое потрескивание свечей, далёкий шум ветра за окнами. Воздух сгущался от невысказанных слов, от невидимой битвы между нами.

И прежде чем успела передумать, я выпрямилась, расправила плечи и посмотрела ему прямо в глаза. Спина скована напряжением. Я сидела неестественно ровно, будто ждала удара. Но в этот момент чувствовала странную лёгкость, словно сбросила груз, который носила слишком долго.

— Расскажи мне о себе.

Не просьба. Требование. Мягкое, но непреклонное. Сталь под бархатом.

Диамант замер. Всего на мгновение, но я успела заметить, как в его взгляде мелькнуло искреннее, почти детское удивление. Он не ожидал, не просчитал. Впервые за всё время выглядел застигнутым врасплох. Брови чуть приподнялись. Пальцы на подлокотнике вздрогнули. Он смотрел на меня так, будто я произнесла слова на языке, которого он не знал.

— Что?

Без насмешки, без холода. Просто с удивлением.

— Расскажи мне о себе, — повторила я. — Кто ты. Что ты любишь. Чего боишься. О чём думаешь, когда остаёшься один.

Он откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. Физический барьер между нами. Но я уже прорвалась. Оставалось только увидеть, насколько глубоко. В полумраке его лицо стало ещё более непроницаемым. Он спешно возводил новые барьеры.

— Что ты хочешь знать?

Без привычной иронии. Только с осторожным любопытством.

— Всё, — ответила я просто, с неожиданной твёрдостью в голосе. — То, что сам захочешь рассказать. Я задам вопросы, а ты просто отвечай. Не захочешь — не отвечай. Я не буду настаивать.

Он усмехнулся. Но в усмешке не было привычной иронии. Недоверие и растерянность. Он словно пытался понять, нет ли за моими словами скрытой ловушки.

— Никто из всех женщин, что были в моей жизни, никогда не просил просто поговорить, — произнёс он, медленно проводя пальцем по краю бокала, ища в этом жесте опору. — Они хотели страсти, секса, боли. Хотели меня — мою силу, власть, красоту. Но никогда — разговора. Никогда — понимания.

Он поднял на меня глаза.

— Ты понимаешь, как это звучит? Ты сидишь напротив меня — после всего, что я с тобой сделал, — и просишь рассказать о себе. Не о власти. Не о деньгах. Не о том, что я могу тебе дать. А о том, кто я. Это либо очень глупо, либо очень смело. Я пока не решил, что именно.

Внутри меня что-то дрожало. Не жалость. Она была бы здесь неуместна, он воспринял бы её как слабость. Странное, почти болезненное сочувствие. За его непробиваемой бронёй, за холодной уверенностью шла глубокая внутренняя борьба, будто в нём уживались двое: один жестокий и расчётливый, другой уязвимый и жаждущий чего-то настоящего.

— Я не они, — сказала я тихо, но непоколебимо. — И я хочу знать, кто ты на самом деле. Не маска, которую ты надеваешь для других. Не образ, который создаёшь. Ты. Настоящий.

Он долго молчал, изучая меня взглядом, будто пытаясь прочесть что-то в глубине моих глаз. В этом молчании было больше смысла, чем в любых речах: сомнение, борьба, выбор между закрытостью и откровенностью.

Наконец он кивнул. Едва заметно, почти неохотно.

— Хорошо. Я отвечу на твои вопросы. Но помни: всё имеет свою цену. И откровенный разговор — в том числе.

В голосе не угроза и не насмешка. Предупреждение, осознание последствий, понимание, что эта беседа могла разрушить хрупкое равновесие между нами. Он сам не знал, куда она заведёт, какие двери откроет, какие тени выпустит на свет. Его дыхание чуть участилось. Я улавливала этот намёк на волнение, спрятанный за маской безразличия.

Я сглотнула. Сердце билось чаще, отбивая неровный ритм последних секунд перед прыжком в пропасть. Пальцы сжали край скатерти. Но я заставила себя разжать их. Вдохнула глубже. Подняла голову. Встретила его взгляд без страха. Я переступала очередную границу, и назад пути уже не было. Но впервые за всё время в этом замке я ощущала не страх. Странное, почти опьяняющее предвкушение правды. Какой бы горькой или прекрасной она ни оказалась.

— Какова цена?

Ни тени сомнения. Только готовность принять его условия.

Диамант медленно откинулся на спинку кресла. В полумраке его глаза блестели не яростью, а холодным, расчётливым интересом, от которого по моему позвоночнику пробежал ледяной озноб. Он достал изящную серебряную зажигалку, неторопливо закурил. Выпустил кольцо дыма, медленно плывущее к потолку. Тряхнул головой, и длинные чёрные волосы взметнулись, обрамляя нечеловечески прекрасное лицо.

— У меня два условия, — начал он ровным, почти будничным тоном. — Первое: после ужина, когда мы поднимемся в спальню, ты сделаешь мне минет. В этот раз без расширителей. Надеюсь, хотя бы нормально взять в рот ты способна. Только после этого я отвечу на твои вопросы.

Он замолчал. Пауза растянулась, как капля смолы, готовая сорваться. Кончик его зажигалки замер над столом. И в наступившей тишине я слышала только треск свечей и собственный пульс, гулко бьющийся в ушах.

Второе условие он не произносил. Оставлял его висеть в воздухе. Невысказанным, как приговор, который мне только предстояло услышать.

4

Кровь хлынула к щекам. Слова умерли в горле, превратились в сухой ком, перекрывший воздух.

Диамант говорил так, словно зачитывал список покупок. И эта бесстрастность резала глубже любого ножа. Вежливая, выверенная, хирургическая. От неё внутри всё каменело.

— Второе — завтра ты пойдёшь со мной в пыточную, — продолжил он, не удостоив меня даже взглядом. — Там подходящий антураж. Больше инструментов. Я хочу кое-что попробовать — и посмотреть, выдержишь ли.

Стены комнаты качнулись и сомкнулись ближе. Воздух густел, становился вязким, пропитанным запахом табака, гвоздики и корицы.

Память услужливо вскрыла старые шрамы: скрип дыбы, дыхание железа, мой собственный крик. Тонкий, срывающийся, отскакивающий от мокрых каменных стен. Я вспоминала холод камня под лопатками. Вспоминала, как пахло: сыростью, страхом, его одеколоном. Вспоминала, как он смотрел на меня тогда. Без злости, без жалости. Просто с интересом. Эхо того крика до сих пор жило где-то под рёбрами.

Пальцы нашли край стола и вцепились. Дерево тёплое. Единственная тёплая вещь в этой комнате.

Диамант вдавил сигарету в пепельницу медленно и методично, как вдавливал бы палец в чужую рану.

— Не бойся, — произнёс он мягким, почти тёплым голосом, от которого становилось страшнее, чем от любой угрозы, потому что она ощущалась как шёлковая перчатка на руке палача. — Если я и использую дыбу, то не стану выкручивать суставы. Я обещал не ломать тебе кости. Помнишь?

Я помнила. Каждое слово, каждую интонацию.

Его слова должны были успокоить. Но вместо этого внутри вспыхнуло разом, как облитое маслом пламя: страх, гнев и третье. То, что я прятала глубже всего. Навязчивый зуд под кожей, тёмный голод на дне живота. Отвратительный и притягательный. Именно его хладнокровие, эта гранитная уверенность в собственной власти будили во мне дерзость, желание оскалиться, доказать, что я не игрушка.

— Ты серьёзно? — выдохнула я. — Ты думаешь, я соглашусь на это?

— А почему нет? — усмехнулся он той самой хищной усмешкой, обнажающей клыки. — Отсос и новые ощущения в подходящем месте — вполне честная цена за откровенность. Ты ведь хочешь узнать меня. Правда?

Его голос опустился до низкого, густого, обволакивающего, как сигаретный дым, шёпота. Он поднялся, шагнул ближе. Я чувствовала жар его тела. Близкий, тяжёлый, как перед грозой.

— Узнать, что за маской, как ты выразилась. Так вот — это часть меня. Та, которую я не показываю никому. Кроме, может быть, Роланда. Но тебе я готов открыть эту дверь. Если ты достаточно смелая, чтобы войти.

Тишина. Потрескивание свечи. Стук моего сердца. Оглушительный в этой тишине.

— Только не жди ничего возвышенного, — добавил он с лёгкой насмешкой. — Героического во мне нет. Не было. Не будет.

Чуть наклонился, так что я ощутила его дыхание на своей коже. Тёплое, с горечью табака.

— А что касается пыточной… Ты боишься? Боишься того, что можешь почувствовать? Или того, что тебе может понравиться?

Последнее слово он произнёс как непристойность. Тихо, интимно, прямо в ухо.

Я сжала кулаки.

— Ты играешь со мной.

— Конечно, играю, — ответил он с волчьей улыбкой. — И ты тоже играешь. Иначе не сидела бы здесь. Не просила бы рассказать о себе. Не тянулась бы к занавесу.

Он протянул руку. Не касаясь, но так близко, что я ощутила тепло его пальцев над своей щекой, как призрак прикосновения.

— Так что, Сильвана… ты готова увидеть, что за дверью?

— Зачем тебе это? — спросила я. — Почему именно я?

— Потому что ты единственная, кто спросил, — прошептал он, упав к самому уху, горячо, влажно, обжигая мочку. — Единственная, кто захотел узнать меня. Не мою силу. Не власть. Не тело. Меня. Теперь решай. Идёшь со мной — или остаёшься в неведении навсегда.

Отступать было некуда. Только шаг вперёд, в темноту, где ждала гибель. Или откровение. Или и то и другое, сплетённые так тесно, что не отличишь одно от другого. На секунду я представила, как разворачиваюсь и ухожу, оставляю его с его условиями и его пустотой. Но ноги не двигались: тело уже сделало выбор за меня.

— Я согласна.

Слова сорвались помимо воли, как последний выдох перед погружением. В них было что-то жертвенное, необратимое. Звук сожжённого моста.

В столовой остался только треск свечей. Пламя вздрагивало, тени на стенах корчились, как живые.

Диамант снова вернулся в кресло напротив. Затянулся. Дым покинул его губы тонкой змеёй. Кивок. Почти неохотный, почти разочарованный, словно он ждал большего сопротивления.

«Кто ты на самом деле?» — вопрос уже стоял на языке, горький, как полынь. Но он остановил меня плавным, властным жестом:

— Сначала минет. Потом вопросы. Как договаривались.

Буднично. Как о погоде, как о расписании поездов.

Я кивнула. Горький ком скользнул по горлу. Каждый нерв под шёлком платья был натянут до звона. Он отвернулся, чтобы погасить сигарету о хрустальное блюдце. И что-то во мне сломалось. Не тихо, не красиво. Как кость под давлением, с хрустом.

— Хорошо, идём, раз уж тебе так приспичило, — произнесла я звенящим, незнакомым голосом. — Но знаете, милорд… иногда мне кажется, что вы думаете не головой, а тем, что у вас между ног.

Фраза повисла в воздухе. Обнажённый клинок, направленный в горло. Пальцы дрожали, сердце билось так громко, что он наверняка слышал.

Диамант замер. Доля секунды. Вдох, не ставший выдохом. Трещина в фарфоровой маске — и тут же затянувшаяся. Потом — смех. Тихий, низкий, бархатный. И от этого бархата по коже бежал мороз.

— О, это было неожиданно, — произнёс он. — Должен признать, ты умеешь удивить. Не каждый осмелится бросить мне это в лицо. Ты почти разочаровала меня быстрым согласием — и вдруг такое. Браво. От души, которой у меня всё равно нет.

Он смотрел на меня, как коллекционер на редкую бабочку, уже наколотую на булавку.

— Знаешь, что забавляет меня больше всего? Ты говоришь так, будто я не вижу. Но я вижу всё. Как дрожат твои пальцы. Как учащается дыхание. Как расширяются зрачки, когда я подхожу ближе. Ты обвиняешь меня в животной натуре — а сама тянешься ко мне, как кошка к валериане. Это… очаровательно.

Пауза. Тяжёлая, намеренная.

— Во-первых, я не спорю, — продолжил он, и в тоне не было ни тени раздражения, только лёд, от которого кровь стыла в венах. — Хотя замечу: та часть меня, которой, по-твоему, я думаю, никогда не вызывала жалоб. Напротив — большинство хвалили мою… многосторонность. Если тебе покажется, что я недостаточно внимателен, — просто скажи. Я исправлюсь. С удовольствием.

Ни хвастовства, ни бравады. Констатация. Спокойная, безжалостная, как диагноз.

— А во-вторых… ты не лучше. Иначе бы не потекла с первого взгляда. Но не переживай. Это обычная реакция. Я привык.

Правда. Голая, грубая, неприглядная. Ранила глубже любого удара, потому что обнажала, срывала последний покров. Он снова поднялся, сделал ко мне шаг. Потом ещё один. Остановился так близко, что его бедро почти касалось моего.

— Хочешь знать, что я думаю о твоей фразе? — спросил он. — Что она хороша. Дерзкая. Смешная. Но, милая, если я начну думать только тем, что у меня между ног, у тебя не останется времени ни на вопросы, ни на разговоры. Я просто трахну тебя во все щели, о которых ты ещё не знаешь, и заставлю благодарить за это.

Он наклонился к моему уху. Голос упал до шёпота.

— И знаешь что? Ты бы кончила. Не раз. Не два. Ты бы кричала так, что стены Рокуэлла запомнили бы твой голос навсегда. Но, к сожалению, у нас был уговор. И я намерен его соблюсти. Хотя твоя колкость меня… возбуждает.

Его рука легла мне на талию. Пальцы сжали ткань платья. Тёплые, сильные, собственнические.

— Так что, продолжим наш маленький обмен? — он провёл губами по мочке моего уха. — Ты отсосёшь мне. Знаю, что не умеешь, но я научу. А я потом расскажу тебе то, что ты хотела узнать. И, возможно, мне понравится. Возможно, я даже позволю тебе задать больше вопросов. Если будешь стараться.

Он поднялся плавно, перетекая из покоя в движение, как хищник перед прыжком.

— Раз ты заговорила откровенно, значит, тебе не терпится куда больше, чем ты готова признать, — произнёс он. — По доброте душевной — пойду навстречу. Хотя мне нравится, когда ты сопротивляешься. Это добавляет… пикантности.

Дверь открылась. Жест властный, непререкаемый, не допускающий мысли о возражении.

Я шла следом. Стыд жёг щёки, гнев кипел в груди, любопытство тянуло вперёд, за край, в пропасть. И то самое запретное, неуловимое притяжение, пахнущее кровью и властью, влекло меня вперёд вопреки разуму, вопреки инстинкту, вопреки всему, что когда-то казалось незыблемым.

Коридор поглощал нас. Свечи за спиной гасли одна за другой, словно даже Рокуэлл закрывал глаза, не желая быть свидетелем того, что произойдёт дальше.

Диамант

1

Я повернулся и посмотрел на её растерянное лицо. Усмешка родилась сама: тихая, едва заметная, но полная превосходства, которое не нуждалось в словах. Победа уже была одержана. Всё остальное — ритуал.

Мой взгляд скользил по ней, считывая тело, как шифрованное послание: дрожь пальцев, мелкая, судорожная. Жилка на шее, бьющаяся в плену собственного ритма. Спина натянутая, прямая, как струна. И дыхание. С каждым моим шагом рвущееся всё короче, всё отчаяннее, будто воздух стал слишком густым, чтобы его глотать.

Я закрыл за нами дверь спальни.

«*Справится сама — или снова придётся надевать расширитель?*»

В этой мысли не было жестокости. Только холодный расчёт. Я любил наблюдать, как ломаются границы, как страх плавится в желание, как сопротивление истончается, делается прозрачным и наконец уступает место покорности. Горячей, постыдной, сладкой.

Но с Сильваной всё было иначе: в её глазах не просто покорность, а война. Страх и любопытство, дерзость и неуверенность. Четыре зверя в одной клетке, рвущие друг друга на части. И именно эта борьба притягивала меня сильнее, чем любая капитуляция.

Спальня приняла нас, как чрево: полумрак, тяжёлый, маслянистый аромат сандала, а под ним едва уловимая горьковатая нота лаванды. Я выбрал этот запах намеренно: он ложился на нервы, как тёплая ладонь. Успокаивал и одновременно будоражил, делал кожу чувствительнее. Тени от канделябра корчились на стенах, вытягивались, множились.

Я подошёл к кровати, небрежным движением откинул покрывало. Шёлк скользнул на пол с тихим шорохом, обнажив тёмное дерево рамы. И повернулся к ней.

Она инстинктивно отступила. Но моя рука уже поймала её запястье. Пальцы сомкнулись не грубо, но неумолимо. Я рывком притянул её к себе. Кожа под моими пальцами была горячая и чуть влажная. Я провёл большим пальцем по внутренней стороне запястья, по тонкой паутине вен. И почувствовал, как волна мурашек хлынула вверх по её руке.

— Расслабься.

Моё дыхание обожгло нежную кожу за мочкой. Она вздрогнула всем телом. Волоски на шее встали дыбом, пульс под моими пальцами взвился бешеным галопом.

— Ты ведь уже это делала. Только немного… по-другому. Так что будет интересно. Для нас обоих. Особенно — для меня.

Отстранился.

— Раздевайся. Полностью. Потом — на колени.

Она сглотнула. Я видел, как судорожно, почти болезненно дёрнулось её горло. Она начала раздеваться медленно, словно во сне, где тело движется сквозь воду, где каждый жест отнимал целую вечность. Ткань соскальзывала с плеч, падала на пол. Каждое движение давалось с усилием: то ли мышцы сковало напряжение, то ли нарастающее возбуждение, которое она давила в себе, как горящий уголь в кулаке.

Я видел, как расширялись её зрачки. Тёмные, почти звериные. Как губы подрагивали. Как грудь вздымалась чаще, чаще, чаще.

Когда последняя ткань упала, я подошёл и остановился в шаге. Мой взгляд прошёлся по ней. Полумрак обострял линии тела, делал изгибы резче, тени в ложбинках глубже. А дрожь, бегущую по коже, превращал в нечто первобытное. В ней не было классической красоты. В ней была красота зверя, пойманного в силки. Испуганного, но не сломленного. Дикого.

— Не нервничай, — произнёс я неожиданно мягким, почти ласковым голосом. — В прошлый раз я вёл. Сегодня ты будешь учиться. Просто делай то, что скажу. И главное — не отводи глаз. Смотри на меня.

Она подняла глаза и встретила мой взгляд. В нём не было осуждения. Только ледяная уверенность человека, который знал путь.

— Теперь — на колени. Руки вдоль тела. Плечи расслабь. Дыши глубже.

Она опустилась. Колени коснулись ковра, но он не грел: холод камня пронзил её насквозь, хлынул вверх по бёдрам. Но именно этот холод обострял всё остальное: жар моего взгляда, стук её собственного сердца.

— Хорошо, — кивнул я, делая шаг назад. — Теперь слушай внимательно. Каждое движение — плавное, размеренное. Ты не просто выполняешь. Ты учишься. И если сделаешь хорошо — я это оценю. Если плохо — мы повторим. И не раз.

Я расстегнул молнию. Её глаза блеснули.

— Сначала — руками. Легко. Не сжимай. Просто почувствуй. Пальцы должны знать, с чем имеют дело.

Она подняла дрожащие руки. Коснулась. Сначала кончиками пальцев, потом ладонью. Обхватила.

— Вот так, — прошептал я. — Тёплые руки. Это важно. Никому не нравится, когда хватают ледяными пальцами.

Она сглотнула и начала двигать рукой. Медленно, неуверенно.

— Не торопись. Сначала просто изучи. Каждую вену. Каждый изгиб. Почувствуй, как он реагирует на касание.

Её пальцы скользили вверх-вниз. Робко, но уже осмысленно.

— Теперь язык, — приказал я. — Пройдись по всей длине. От основания до головки. Не спеши.

Она наклонилась. Её язык коснулся кожи у основания. И я почувствовал, как по телу пробежала волна жара.

— Да. Вот так. Тёплый язык. Мокрый. Теперь — головка. Оближи её. По кругу. Как будто пробуешь что-то дорогое.

Она подчинилась. Её язык описал круг вокруг головки, потом ещё один. Я застонал сквозь зубы.

— Теперь возьми в рот. Но без зубов. Губы сожми плотнее. Головку — за щёку. Нежно.

Она обхватила губами головку. Сначала неуверенно, потом глубже.

— Вот так. Теперь — глубже. Но не давись. Если не получается — отстранись, вдохни, попробуй снова.

Она попыталась. Закашлялась. Отстранилась. Я дал ей секунду.

— Снова.

Она повторила. На этот раз глубже. Её горло сжалось вокруг меня.

— Блять… — выдохнул я. — Вот теперь ты начинаешь понимать.

— Теперь — ритм, — продолжил я, запустив пальцы в её волосы. — Не части. Сначала медленно. Входи глубже — отстраняйся. Создай вакуум губами. Как будто сосёшь.

Она начала двигаться. Медленно, втягивая щёки.

— Да. Вот так. Теперь добавь руку. У основания. Двигай в такт рту.

Её рука легла на основание. Движения стали синхронными.

— Хорошо. Теперь быстрее. Но не теряй ритм.

Она ускорилась. Влажные звуки заполнили комнату.

— Чувствуешь? — прошептал я. — Как он напрягается? Как пульсирует? Это твоя работа. Твоя сила. Ты управляешь мной. Можешь остановить. Можешь довести. Это — власть.

Она подняла на меня глаза, не переставая. В них был голод.

— Теперь глубже, — приказал я. — До конца. Сколько сможешь. Не бойся.

Она попыталась. Её горло сомкнулось вокруг меня. Слюна текла по подбородку. Я потянул её за волосы. Не грубо. Направляя.

— Не давись. Дыши через нос. Расслабь горло. Представь, что глотаешь.

Она сглотнула. И это сжатие вокруг меня было почти невыносимым.

— Сука… — выдохнул я. — Ещё раз.

Она повторила. И ещё. И ещё.

— Быстрее, — прошептал я. — Сожми губами крепче. Используй язык. Вот здесь, под головкой. Да…

Она работала с упорством, граничащим с одержимостью. Её слюна текла по моему стволу, по её подбородку, на грудь. Звуки, которые она издавала, были непристойными: влажное причмокивание, сдавленные стоны, влажный скользкий шум.

Я чувствовал, как приближался к краю.

— Сейчас, — выдохнул я. — Сейчас кончу. Хочешь, чтобы я предупредил?

Она не ответила. Только посмотрела на меня снизу вверх и ускорилась.

— Тогда глотай, — приказал я. — Всё. До капли.

Она кивнула, не отрываясь. Ещё несколько движений — и я взорвался. Горячая струя ударила в её горло. Она сглотнула. Потом ещё раз. И ещё. Я держал её за волосы, не позволяя отстраниться, пока последние толчки не стихли. Она сглотнула всё. До конца.

И только тогда я отпустил.

Она отстранилась. Губы припухшие, влажные. По подбородку стекала слюна. Глаза блестели. Ни страха. Ни отвращения. Только спокойствие и что-то похожее на триумф. Она не отвела взгляд. Просто выдохнула долго и медленно.

Воздух между нами дрожал, пах потом, сандалом, спермой и чем-то ещё. Первобытным, диким.

— Спасибо.

Слово вырвалось само. Тихое, почти беззвучное. И в нём было больше, чем благодарность. В нём была частица меня, которую я не собирался отдавать.

— Это действительно было неплохо, — добавил я. — У тебя прекрасный рот. И, как выяснилось, дан он тебе не только для того, чтобы говорить мне гадости.

Сильвана

1

Диамант отстранился.

Я слышала звук застёгиваемой пряжки. Сухой, металлический, окончательный. Он поднял голову, и его взгляд оказался пугающе ясным, словно всё, что произошло минуту назад, не затронуло в нём ничего, кроме любопытства. Он смотрел на меня так, будто видел впервые. Изучал, как ювелир изучает камень после огранки.

Я выныривала медленно, из глубокого дурманящего омута, где реальность растворялась в вихре ощущений, а время сворачивалось в тугой клубок. В ушах приглушённый гул, отзвук собственного пульса. Перед глазами плавали размытые пятна: зеркала потолка, мерцание оплывших свечей, силуэт Диаманта в кресле, развалившегося, как хищник после охоты.

Я машинально провела языком по губам: солоноватый, горький привкус. Уже не чужой, а знакомый. И от этого одновременно стыдно и приятно, как от тайны, которую знаешь только ты. Я лишь запоздало осознала, что делаю. Жар обжёг скулы, прокатился вниз по шее. Тело ещё дрожало мелко и предательски. Я сжимала пальцы в кулаки, но дрожь переползала в запястья.

Диамант наблюдал с ленивой, кошачьей полуулыбкой. Тихий смешок вырвался из его горла. Глаза блестели не злорадно, а с тем редким, чуть циничным удовольствием, которое он позволял себе нечасто.

— Ну что, как ощущения? — произнёс он. — Не разочарована?

Я медлила, вылавливая каждое слово из хаоса. Отрицательно качнула головой. Потом, собравшись с духом:

— В прошлый раз ты сделал это жёстко. Грубо. Унизительно. А сейчас… всё совсем по-другому.

— В прошлый раз ты разбудила меня ледяным душем, — пожал он плечами, без упрёка и раздражения, с лёгкой иронией. — И была справедливо наказана. А если честно… как больше понравилось?

— У тебя сегодня вечер выяснения моих ощущений? — попыталась я спрятать за шуткой растерянность.

— Я просто спрашиваю, — он приподнял бровь. — Когда я только начинал всё это практиковать — как бы я узнал, что приятно партнёрше, а что нет? Язык, если что, существует не только чтобы совать его куда надо и куда не надо. Но и чтобы разговаривать.

— А я-то думала, ты всё знаешь по умолчанию, — усмехнулась я неожиданно для себя. — Ну, как герцог. Как инквизитор. Как ходячее воплощение порока.

— О, я знаю много, — он выпустил дым в потолок. — Но женщина — не допросная камера. Из неё не выбьешь правду клещами. Только языком. В обоих смыслах.

Он улыбнулся медленно и откровенно, давая понять, что шутка была намеренной.

— А если серьёзно, я не люблю оставлять женщину неудовлетворённой.

— То есть ты не альтруист. Ты перфекционист.

— Точно. Мне нравится, когда всё сделано хорошо. Особенно — когда это делают со мной.

— Знаешь… ты удивительный, — произнесла я чужим, как мне казалось, голосом. — Я слышала, что мужчины в этом деле думают только о своём удовольствии. А тебе — с твоими наклонностями — важно не просто получить своё, а выстроить всё так, чтобы оно имело смысл. Для обоих. Это… поразительно.

— Я не все.

Не игра. Утверждение.

— И как раз с моими наклонностями это особенно важно, — добавил он. — Если партнёрша не чувствует себя в безопасности, всё рассыпается. Это не жестокость. Это фундамент. Тут дело не в морали. А в том, кем я себя считаю.

— О, это я уже поняла. Ты не просто герцог. Ты — произведение искусства, которое не имеет права на плохое исполнение.

Он рассмеялся низко и откровенно:

— Наконец-то ты начинаешь понимать.

Я смотрела на него и чувствовала, как внутри что-то смещалось: он говорил легко, с иронией, но под этой лёгкостью таилось нечто настоящее. Не бравада. Спокойное осознание собственной силы — и ответственности за неё.

— Если честно, ты превзошла мои ожидания, — произнёс он, затянувшись и выпустив дым через ноздри. — Особенно в финале. Не каждый способен не только принять… но и усвоить.

— Усвоить? — я приподняла бровь. — Ты сейчас о чём — о вкусе или о покорности?

— О том, что ты не отпрянула. Не отвернулась. Сглотнула.

Жар снова хлынул к моим щекам. Я опустила взгляд, но не отвела его. В его словах было что-то не пошлое, а почти уважительное. И от этого становилось ещё более обнажающим.

— Ладно, — он махнул рукой. — Иди в ванную. Приведи себя в порядок. А когда вернёшься… я буду полностью в твоём распоряжении. Для обещанного разговора.

Пауза. Нарочитая, тягучая. Его взгляд двинулся медленно. По моим коленям, по животу, по ключицам, по горлу.

Я хотела что-то сказать, возразить, но слова застряли комом в горле. Глубокий вдох. Воздух пах свечным нагаром, табаком и чем-то мускусным, тёплым. Что принадлежало только ему.

Я подхватила одежду с пола. Ткань прохладная, почти влажная на ощупь. И направилась к двери. Его взгляд лёг между лопаток.

На пороге я остановилась. Не оборачиваясь.

— Ты правда хочешь поговорить? — спросила я тихо, почти шёпотом. — Или это ещё один этап твоего… эксперимента?

Я боялась ответа. Но ещё больше боялась, что он не ответит. Тишина была долгой. Я чувствовала его взгляд на спине.

— На этот раз — не совсем, — произнёс он, и голос прозвучал непривычно мягко, почти человечно. — Я хочу сдержать слово. И посмотреть, куда это нас приведёт.

Я выдохнула. И переступила порог.

В ванной было холодно. Кафель обжигал ступни. Я включила воду, и шум потока заполнил пространство, смывая остатки тишины, в которой рождались откровения. Оперлась ладонями о раковину. Фарфор ледяной. Подняла глаза к зеркалу.

Отражение казалось чужим: припухшие губы, румянец, ещё не сошедший со скул, волосы в беспорядке. На шее едва заметный след от его пальцев. На запястьях красноватые полосы.

Я медленно подняла руку и коснулась своих губ: они были горячие, припухшие, всё ещё хранили его вкус. Солоноватый, горьковатый, чужой. Провела по ним пальцами, как по заживающей ране. И не чувствовала стыда. Только любопытство.

Коснулась шеи, где кожа помнила его дыхание. Коснулась запястий, где его пальцы сжимали меня. Провела пальцами по синякам на бёдрах: они были его подписью. И я ловила себя на том, что не хотела, чтобы они исчезали.

Следы на теле больше не пугали: они были доказательством того, что это случилось, что я прошла через это, что я осталась.

Я провела ладонями по плечам, по груди, по животу. Медленно, изучающе, как будто видела это тело впервые. Оно отзывалось на каждое прикосновение не стыдом, а теплом. Оно помнило всё: его руки, его губы, его голос. И не хотело забывать.

Я снова посмотрела в зеркало: в моих глазах больше не было страха. Только любопытство и предвкушение. Он обещал разговор, обещал ответить на вопросы. И впервые за всё время в этом замке я чувствовала не страх перед ним. Жажду. Жажду узнать, понять, заглянуть за маску, которую он носил так долго, что она, возможно, уже приросла к лицу.

Я ополоснула лицо холодной водой. Капли стекали по шее, по груди. Вытерлась. Оделась медленно, не торопясь. И в последний раз посмотрела на себя.

Та, что смотрела из зеркала, — другая. И эта другая была готова услышать правду.

Диамант

1

Как только Сильвана исчезла за дверью, я выдохнул медленно, до конца, словно выпуская из лёгких не воздух, а отравленный дым собственной учтивости.

Маска соскользнула сама. Не потому, что я устал. Потому что наедине с собой держать её бессмысленно. Всё равно что улыбаться мертвецу.

Пальцы выбили по подлокотнику сухую, нервную дробь. Не волнение. Досада: где-то в расчётах вкралась погрешность. Крохотная, едва ощутимая, но я чувствовал её, как занозу под ногтем. Не больно, но невыносимо.

В зеркале напротив мелькнуло моё отражение: глаза, в которых плавало холодное раздражение хирурга, обнаружившего лишний стежок на безупречном шве.

Я поднялся, подошёл к столику у окна, налил вино. Движения слишком резкие, стекло звякнуло о стекло. Звук в тишине прозвучал вызывающе, почти непристойно. Вино густое, тёмное, цвета запёкшейся крови, плескалось в бокале. Я поднёс его к лицу, но не пил. Вдохнул: дубовая горечь, чернослив, что-то смолистое, тяжёлое, как и всё вокруг. Декорация, красивая и полая внутри.

Я вышел в коридор. Полумрак пах воском и чужим потом. Кисловатый, рабский запах, который не перебивали ни благовония, ни срезанные цветы в нишах.

— Вино. Фрукты. Что-нибудь со льдом, — бросил я пробегавшему слуге, не повернув головы. — Хоть чем-нибудь разбавьте эту духоту.

Они появились мгновенно. Бесшумные тени с опущенными взглядами, привыкшие к внезапным приказам, как привыкают к ударам. Их покорность не утоляла ничего. Только лёгкое презрение к ним, к их предсказуемости, к тому, как безупречно они играли роль безмолвных марионеток, не догадываясь, что ниток давно никто не дёргает.

Через минуту на столике выстроился натюрморт: бокалы, ваза с виноградом, разрезанными фигами, и персиками, графин запотевший от ледяной воды.

Я сделал глоток вина. И тут же поставил бокал: вкус лёг на язык тяжело, слишком терпкий, почти горький, с металлическим послевкусием, от которого сводило скулы. Как и всё в этой ситуации, как сама мысль о том, что кто-то, пусть даже она, мог хоть на миг сбить мой ритм.

«*Терпкость — признак качества*».

Я усмехнулся. Усмешка вспыхнула и тут же погасла, как спичка на ветру.

Опустился в кресло, вытянул ноги. Кожа сиденья тёплая, нагрелась от моего тела. И в этом было что-то неприятно интимное, словно кресло запоминало меня.

Закрыл глаза. В темноте под веками проступил её взгляд в финале разговора: не покорность. Что-то другое: любопытство, дерзость, тонкая трещина в послушании, сквозь которую проглядывало живое, горячее, опасное. Впервые за долгое время кто-то не просто подчинялся, а пытался заглянуть за маску, прочесть правила, которые я ещё не озвучил. И это будило во мне раздражение. Густое, тягучее, почти телесное. И одновременно интерес. Острый, как лезвие, проведённое по внутренней стороне запястья.

Её вопрос «Кто ты?» я прокручивал в голове снова и снова. Никто не спрашивал. Никто не хотел. А она спросила. И это было непривычно.

Она справилась изящно? Пожалуй. Но не потому, что искусна. А потому, что я позволил. Ослабил поводок чуть больше, чем следовало, просто чтобы посмотреть, как далеко она отбежит. Зверёк на длинной цепи всегда думает, что свободен. До рывка.

Интересно, что она спросит, когда вернётся. Банальное «зачем?» или что-то более глубокое, что выдаст её с потрохами, обнажит нерв, за который можно потянуть. Её смелость — пламя свечи: оно светит, пока я даю ему воздух. Одно движение — и темнота.

Я позволил ей поверить, что у неё был выбор. Но выбор — лишь нить в паутине. Моя нить. Она думает, что идёт. А её ведут.

Я умел говорить о чём угодно: о политике, о войне, о сексе. Но говорить о себе — это всё равно что снять кожу и позволить кому-то смотреть на мышцы.

За окном наваливалась ночь. Беззвёздная, плотная, как чёрный бархат, пропитанный сыростью. Если бы не свечи, комната стала бы могилой. Пламя подрагивало, тени на стенах шевелились медленно и маслянисто, как щупальца чего-то живого, притаившегося за границей света. Воздух пах нагретым воском, остывающим вином и чем-то неуловимым. Может быть, её духами, оставшимися в складках портьеры.

Я сидел неподвижно и ждал.

Разговор будет сложным? Возможно. Но только для неё. Для меня — очередной ход на доске, где она даже не видела всех фигур. Очередная проверка её пределов. Я знал: она вернётся с вопросами, будет искать во мне что-то человеческое. Трещину, зацепку, искру тепла в этой ледяной расчётливости. Будет вглядываться в моё лицо, как вглядываются в колодец, надеясь увидеть дно.

Но найдёт ли?

В глубине, там, куда я давно не заглядывал сам, шевельнулось нечто, похожее на сомнение. Едва уловимое, как шёпот за стеной. Я прикрыл глаза и вслушался: тишина густая, вязкая, пульсирующая. Не мёртвая, а затаившаяся, как зверь перед прыжком. Я впитывал её не

ради покоя, а ради контроля, чтобы зафиксировать момент, запомнить паузу, точку, в которой правила ещё не установлены, а будущее раскрыто, как чистая страница.

Но это не значило, что правил нет: мои правила уже написаны, высечены в камне опыта, вплавлены в кость. Она узнает их позже. Когда будет готова. Или когда я решу, что готова.

Усмешка беззвучная, только для себя: ожидание — тоже часть игры. И я умел ждать терпеливо и расчётливо, с той холодной ясностью ума, которая пугала даже меня самого в те редкие минуты, когда я позволял себе об этом думать.

Бокал вина стоял почти нетронутый. Тёмная поверхность подёрнулась маслянистой плёнкой. Фиги раскрылись шире, обнажив влажную рубиновую мякоть. Виноградины потемнели, налившись тяжёлой сладостью. Вода в графине медленно теплела, как будто само время остывало вокруг, теряя остроту.

Я потянулся к вазе, взял одну виноградину: прохладная, упругая, с тонкой кожицей, готовой лопнуть от малейшего давления. Поднёс её к свету. Свеча высветила изнутри тёмную мякоть, спрятанную под глянцевой оболочкой. Целая. Нетронутая. Пока.

Сжал пальцы.

Кожица лопнула с тихим, едва слышным хрустом. Сок брызнул на ладонь. Тёплый, липкий, сладковатый. Я раздавил ягоду до конца, чувствуя, как мякоть скользила между пальцев, как стекала вниз, оставляя на коже тёмные дорожки. Вот так и Сильвана: целая, упругая, сладкая. До тех пор, пока я не решу сжать.

Медленно разжал пальцы. Остатки ягоды упали на стол. Бесформенные, раздавленные, уже ничем не похожие на то, чем были.

Я вытер ладонь о салфетку небрежно, как вытирают кровь.

Свет в комнате угасал. И вместе с ним угасала иллюзия её свободы. Хрупкая, как пепел, которого ещё не коснулся ветер. Свобода, которая никогда не была настоящей. Которую я выдал ей, как фальшивую монету. И она приняла, не проверив на зуб.

Я знал: когда она вернётся, — а она вернётся, куда ей деться, — я снова надену маску. Лёгкую, ироничную, с тенью насмешки в уголках губ. Ту, что заставляла её верить, будто она что-то значила в этой игре, будто её ходы имели вес, будто её тело, её голос, её взгляд что-то меняли.

Но сейчас можно было быть собой: циничным, расчётливым, абсолютно неуязвимым.

Почти.

Глава 2

Глава 2
Исповедь

«Она нашла „Жюстину“ у священника. Он — в собственной библиотеке. Так они поняли, что у тьмы нет прихожан — только братья и сёстры».

Сильвана
1

Я вышла из ванной.

Воздух комнаты лёг на влажную кожу, как чужие ладони. Прохлада ещё держалась на плечах, на ключицах, в ложбинке между грудей, где не успела высохнуть вода. Капли медленно скатывались вниз, оставляя тонкие дорожки. И каждая ощущалась отчётливо, будто кто-то вёл пальцем по телу, не торопясь, изучая.

Волосы, тяжёлые от влаги, липли к шее, к вискам, к оголённым плечам. Мокрый шёлк, пахнущий мылом и чем-то ещё, что принадлежало только мне.

В комнате пахло воском, нагретым деревом и немного — кожей его перчаток, брошенных на подлокотник. Лампа на столике горела, превращая пространство в шкатулку: тёплый свет на тёмном бархате, тени живые, подвижные, ползли по стенам, как пальцы, ищущие опору. Полумрак скрадывал углы, размывал границы. И казалось, что комната дышала медленно и глубоко, в такт чему-то, чего я ещё не понимала.

На столике ваза с фруктами. Натюрморт, написанный для грешников: персики лежали тяжело, налитые, хранящие в бархатистой плоти тепло давно ушедшего солнца. Виноград, тёмный, почти чёрный, блестел влажно, как чьи-то зрачки в полумраке. Инжир, надломленный, раскрывал сырую алую мякоть. Неприлично нежную, неприлично откровенную.

Я выбрала персик. Самый крупный, оранжево-розовый, с тем закатным румянцем, который бывает у кожи после горячей ванны. Он лёг в ладонь. Бархатистый, почти живой. Я провела большим пальцем по кожице и ощутила, как проступала под ней мягкость, готовая сдаться.

Первый укус: сок хлынул, сладкий, густой, тёплый. Потёк по губам, по подбородку, по пальцам. На язык легло лето: запах нагретой травы, далёкий смех, дни, когда мир был бесконечным и безопасным, когда ничто не требовало платы.

Второй укус. И всё изменилось: вкус был из детства, лето, трава, смех. Но теперь он смешался с другим. С его взглядом, с этим полумраком, с запахом корицы и гвоздики. И стал другим. Опасным.

Я ощутила его взгляд раньше, чем подняла глаза: он ложился на кожу тяжёлый, горячий, почти физический, как ладонь, прижатая к голой спине. Так чувствуют огонь, ещё не видя пламени, но уже зная, что обожжёт.

Диамант сидел в кресле, откинувшись, раскинув ноги. Одна рука на подлокотнике, другая у губ. Поза ленивая, почти скучающая. Свет лампы выхватывал из полумрака скулы, тяжёлую линию челюсти, тёмные провалы под бровями. А глаза оставались в тени и оттого казались не глазами, а двумя прорезями в маске, за которыми горело что-то, чему я не знала названия.

Он не просто смотрел. Он пил: взгляд скользил по моим пальцам, перепачканным соком, поднимался к запястью, переходил к горлу, к ключицам, к каплям, что ползли по груди, теряясь в вырезе. К губам, мокрым, липким от нектара. В этом медленном скольжении было столько осязаемого голода, что воздух между нами густел, становился вязким, как перегретый мёд.

— Ты выглядишь… невероятно соблазнительно.

Пауза. В ней я слышала собственный пульс.

— Если не хочешь, чтобы наша экскурсия в пыточную состоялась сегодня, — добавил он голосом ниже, мягче, опаснее, — советую быть осторожнее. И начать интервью.

Тон спокойный, почти будничный. Но под ним гул, как за стеной, за которой бушует пожар. То ли угроза, то ли обещание, то ли мольба, которую он никогда не произнесёт вслух.

Холодок прошёл по позвоночнику. Не страх. Что-то острее, от чего сжимался низ живота и пересыхало горло.

Я медленно подняла персик и, не отводя глаз, провела языком по бархатистой кожице. Так, как не решилась бы ещё вчера. Сок, скопившийся в месте укуса, скользнул по губам. И я слизнула его медленно, намеренно. Я чувствовала, как взгляд Диаманта становился тяжелее, как воздух между нами уплотнялся.

Откусила ещё. Сок снова потёк по подбородку, по шее, в ложбинку между грудей. Капля скользнула вниз, оставляя влажную дорожку. И я не вытирала её.

— Сладко, — произнесла я голосом ниже обычного, с лёгкой хрипотцой, которую сама едва узнавала. — Хочешь попробовать?

Я сама не верила, что говорила это. Но останавливаться не хотелось: его внимание пьянило сильнее вина.

Он не шевелился. Но я видела, как дрожали его пальцы на подлокотнике.

— Осторожнее, Сильвана, — ответил он голосом, подобным шёлку, натянутому поверх стали. — Ты же не хочешь, чтобы твой первый вопрос так и остался неотвеченным.

Он был прав. Я не хотела. Но и останавливаться не хотела тоже.

Я положила персик на тарелку. Тихий стук фарфора. Сухой, чёткий. Разрезал тишину, как щелчок взводимого курка. И медленно вытерла пальцы.

Молчание тянулось и густело, становилось третьим в комнате. Живым, дышащим, давящим на рёбра. Перетянутая струна. Я чувствовала её вибрацию кожей, зубами, кончиками пальцев.

Я хотела увидеть его настоящего: без брони, без яда, без просчитанных пауз. Уязвимого, может быть, смешного, может быть, страшного. И в глубине, там, где честность ещё жила, шевелилось опасение: правда могла разрушить всё. Хрупкое, болезненное, необъяснимое равновесие между нами. Могла обнажить пустоту. Или, что хуже, обнажить человека. Живого, способного чувствовать, ошибаться, мечтать, любить.

Я подняла глаза прямо на него. В эту тёмную, непрозрачную глубину, где, может быть, сейчас тоже шла война.

— Кем ты хотел стать в детстве? — спросила я тише, чем рассчитывала. — Когда вырастешь. Если бы не родился наследником престола.

2

Диамант замер. В его взгляде мелькнуло не раздражение и не насмешка, а удивление, словно кто-то тронул струну, давно забытую, затянутую пылью. Он откинулся в кресле, скрестил руки на груди. Веки дрогнули и опустились. На миг он выпал из реальности и унёсся куда-то далеко.

— Странный вопрос, — произнёс он наконец, и в голосе звучала непривычная мягкость. — Но почему бы и нет. Я хотел быть астрономом.

— Астрономом?

Я не смогла скрыть изумления: брови приподнялись, губы чуть приоткрылись.

— Да, — улыбнулся он без цинизма, с лёгкой грустью. — Мне казалось, что звёзды — это единственный способ понять мир. Они неизменны, вечны, их законы можно просчитать. В отличие от людей.

Он замолчал, глядя куда-то сквозь меня. Не на стену и не на шторы. В бескрайний космос, о котором мечтал когда-то. В этот момент он выглядел совсем мальчишкой. Не власт-

ным господином, не холодным манипулятором. Человеком, который когда-то верил, что мир устроен просто и справедливо.

— А потом? — спросила я осторожно, боясь нарушить хрупкую нить откровенности.

— Потом я понял, что люди куда интереснее звёзд, — ответил он. — Их нельзя просчитать, нельзя предсказать. Они могут быть жестокими, лживыми, эгоистичными… но и невероятно прекрасными. Как ты сейчас с этим персиком.

Голос звучал ровно, без пафоса и без игры. Я задержала дыхание, боясь спугнуть этот редкий миг.

— Так что, это твой первый вопрос? — продолжил он, медленно возвращаясь к реальности, и взгляд его прояснился, стал острее. — Или у тебя есть что-то поинтереснее?

Я задумалась: теперь, когда он приоткрыл дверь в прошлое, мне хотелось заглянуть глубже. Но я понимала: каждое слово должно быть взвешенным. Одно неверное движение — и он снова спрячется за стеной, которую выстраивал годами.

— Почему ты перестал мечтать о звёздах?

Он медленно провёл рукой по подлокотнику, словно ощупывая невидимую границу между прошлым и настоящим. Пальцы замерли на резной детали, цеплялись за якорь в вихре воспоминаний.

— Потому что понял: чтобы смотреть на звёзды, нужно стоять на твёрдой земле, — ответил он. — А я предпочёл быть тем, кто держит эту землю в своих руках. Земную власть — космическим далям. И ни разу не пожалел.

— Ни разу? — переспросила я. — Даже когда очередной посол смотрит на тебя так, будто ты лично испортил ему жизнь?

— Особенно в такие моменты, — фыркнул он коротко, почти по-мальчишески. — Потому что я именно тот, кто испортил ему жизнь. И мне это нравится.

— Ты неисправим.

— А ты надеялась, что после пары вопросов я превращусь в романтика? — он приподнял бровь. — Сильвана, милая, я не превращаюсь. Я лишь иногда позволяю себе вспоминать.

В воздухе смешивались ароматы персика, табака и сандала. Потрескивание свечи наполняло тишину размеренным, почти гипнотическим ритмом. За окном ночь окутывала мир, полная луна заливала комнату серебристым светом.

Я устроилась в кресле, поджав под себя ноги, словно девочка, пришедшая послушать сказку у камина. Поза непринуждённая, почти детская. А в глазах — искренний интерес. Чистый, незамутнённый расчётом. Я смотрела на него, слегка склонив голову, изучая его лицо в лунном свете. Ни игры, ни умысла. Только жажда узнать его настоящего.

— А было что-то в детстве… что до сих пор заставляет тебя улыбаться? — спросила я тихо, почти шёпотом. — Расскажи, пожалуйста.

Диамант

1

— Весёлое, значит? — я приподнял бровь, взвешивая её просьбу.

Мой взгляд скользнул куда-то вдаль, зацепившись за обрывок давнего воспоминания. Я откинулся на спинку кресла и провёл пальцем по краю бокала. Стекло тихо звякнуло.

— Ну, допустим… Было мне тогда лет одиннадцать. Как раз в тот год послы из соседнего королевства подарили отцу автомобиль — блестящий, чёрный, как вороново крыло. Для меня это была не просто машина, а воплощение мечты о свободе и скорости.

Я замолчал. Губы тронула едва заметная улыбка. Пальцы непроизвольно сжались, словно снова ощупывали гладкую поверхность кузова.

— И что же ты сделал? — она подалась вперёд, упираясь локтями в колени. Глаза загорелись любопытством.

— Угнал её.

Я усмехнулся.

— Не планировал заранее. Увидел, что ключи остались в замке зажигания, и не смог устоять. Провёл рукой по кузову, сел за руль, гордо выпрямился — и понял, что не умею водить. Эта чёртова тачка бросила мне вызов. Но я всё-таки поехал. Угадай, как именно.

Она прикрыла рот ладонью, но смех прорвался. Звонкий, искренний.

— Задним ходом?

— Именно. Перепутал передачи и поехал прямиком в болото за замком.

— О боже, — она вытирала выступившую слезу. — И что дальше?

— Дальше было ещё интереснее. Машина застряла, колёса бешено вращались, грязь летела во все стороны. А я сидел за рулём, чувствуя себя героем и идиотом одновременно. И тут появляется отец. Со всей свитой.

Мой взгляд расфокусировался. Перед глазами снова возникла картина: роскошный автомобиль, наполовину утонувший в болотной жиже. И я — маленький, растерянный, но всё ещё гордый.

— Он подошёл, молча открыл дверь, вытащил меня за ухо — да, прямо как маленького — на глазах у всего лебронского двора. Я был мокрый, грязный, в волосах запутались пиявки…

— Пиявки?!

— Да. Они, знаешь ли, обожают тёпленькую кровь. А у меня, видимо, она была особенно вкусной. Потому что вцепились так, будто не ели неделю. Я потом час сидел, пока слуги отдирали их с меня, как репьи с шерсти. Одна, самая наглая, присосалась к шее. Я её до сих пор помню. Жирная была, блестела, как отполированная.

— Боже, перестань, — она сморщила нос, но глаза её блестели от смеха.

— А самая прелесть была впереди, — продолжил я. — Пока отец читал мне лекцию перед всем двором, я чувствовал, что в моих волосах что-то шевелится. Сначала не понял. Думал, опять пиявка. А потом это «что-то» как прыгнет! Прямо отцу на сапог.

— Лягушка?!

— Именно. Зелёная, скользкая, глаза выпученные. Сидит на его сапоге, раздувается, как будто она тут хозяйка. Отец смотрит на неё, потом на меня. Я стою мокрый, грязный, в пиявках, без одного сапога, потому что его засосало в болото. И тут эта тварь как квакнет. Прямо ему в лицо. Я думал, меня казнят на месте.

Она уже не просто смеялась. Она хохотала, схватившись за живот, по щекам текли слёзы.

— Отец так и замер, — я покачал головой, улыбаясь. — Сапог у него был начищенный, как зеркало. А на нём — лягушка. Квакает. Свита стоит, не дышит. Кто-то из лордов, кажется, даже воззвал к богам. А отец посмотрел на меня и выдал: «Ну что, герой, теперь ты знаешь, что такое настоящая экспедиция».

— А что было потом?

— Потом слуги меня отмыли, вычесали пиявок и лягушек, а отец заставил мыть машину. А после этого… я получил самую длинную лекцию в своей жизни о том, почему нельзя трогать чужие вещи без разрешения. Часа два, не меньше. Я стоял перед ним мокрый, с прилипшими ко лбу волосами и думал: «Лучше бы я остался в болоте».

— Но это же так мило, — она всё ещё улыбалась. — Я и представить не могла, что ты когда-то был обычным мальчишкой, который воровал машины.

— Сильвана, мне двадцать один год. Я и сейчас обычный мальчишка, хотя и терпеть не могу, когда кто-то меня так называет. Только теперь я ворую не машины, а чужие секреты. И лягушек не люблю. Они некрасивые, зелёные и мерзко квакают.

Она снова рассмеялась. И я чувствовал, как между нами возникало что-то новое. Не игра, не напряжение. Простое человеческое тепло. Но я тут же отогнал эту мысль.

— Спасибо, — произнесла она тихо. — Это было… чудесно.

— Что именно?

— То, что ты поделился этим. Я не думала, что ты способен на такие воспоминания.

— Способны все. Просто не все хотят их вспоминать.

Тёплый свет лампы рисовал на стенах причудливые узоры.

— Расскажи ещё что-нибудь в таком духе, — попросила она, снова подавшись вперёд. — Пожалуйста.

Я замер на мгновение. Затем медленно улыбнулся. Не иронично. По-настоящему, с тёплой ноткой ностальгии.

— Ладно. Был ещё один случай. С вороном. Он тоже научил меня кое-чему важному.

Пауза.

— Мы с Роландом тогда были совсем несмышлёными сорванцами. Мне десять, ему тринадцать. Целыми днями пропадали в лесу за замком. И вот однажды видим: на мху, под старой елью, лежит ворон. Крыло подбито, перья в беспорядке, едва дышит. Но в глазах — такая гордость, такое достоинство, что мы сразу решили: это знак судьбы. Настоящий лесной маг, раненый, но не сломленный.

— И вы его спасли?

— Разумеется. Притащили в замок, несмотря на протесты слуг. Спрятали в моих покоях. Кормили кусочками мяса, поили водой из пипетки, как настоящие лекари. А когда решили дать ему имя… вспомнили сказку о тёмном волшебнике Моргане, которую нам рассказывала няня. Так мой пернатый пациент и получил имя.

— Он выздоровел?

— Более-менее. Крыло так и осталось слабым, летать высоко он не мог, но по земле передвигался бодро, даже с каким-то шиком. А ещё… он оказался невероятно смышлёным. И, кажется, обладал врождённой склонностью к лингвистике.

— К лингвистике? Ты о чём?

— О том, что мы научили его ругаться, — признался я со смехом. — Сначала ради шутки. Повторяли при нём выражения, подслушанные у конюхов и стражников. А Морган запоминал и воспроизводил с пугающей точностью.

— Не может быть!

— Ещё как может. И вот однажды мой отец — сама знаешь, человек серьёзный, даже суровый — входит в главный зал. А там, на балюстраде, сидит Морган, весь важный, чёрный, как ночь. И едва отец переступает порог, ворон наклоняет голову и орёт во всё горло: «Пошёл на хер, ублюдок!»

Она зажала рот рукой, но смех прорвался. Звонкий, заразительный.

— Ты представляешь лицо отца? Он замер, глаза — как два блюдца. Потом медленно поворачивается к нам и спрашивает: «Это что, ваша работа?»

— А вы?

— Мы, конечно, сделали вид, что ни при чём. Но отец не шутил. Он приказал слугам застрелить ворона — за оскорбление монаршей чести.

Я впервые почувствовал, что такое страх не за себя, а за другое существо. И это было непривычно.

— Ужас! И что вы сделали?

— Спрятали его. В подвале, в старом чулане. Там было темно, пыльно, но Моргану нравилось. Он обосновался, как в собственном замке. И время от времени, когда кто-нибудь из слуг заглядывал, внезапно выкрикивал что-нибудь этакое.

— Например? — её глаза блестели.

Я откинулся на спинку кресла, усмехнулся, вылавливая из памяти хриплый воронов голос.

— «Чтоб тебя черти взяли!» Или «Проваливай, недоумок!»

Мой голос невольно звучал громче, имитируя хрипловатый крик Моргана.

— Слуги, конечно, решили, что в подвале завёлся злой дух. Кто-то даже побежал к жрецу — просил освятить чулан.

Она не выдержала. Смех вырвался наружу, звонкий и беззаботный.

— Это невероятно! И что дальше?

— Ничего особенного. Морган прожил у нас лет семь, если не больше. Мы подкармливали его, иногда разговаривали — он даже научился отвечать на вопросы. В своём стиле, разумеется. А когда кто-то чужой забредал в чулан… получал незабываемый языковой урок.

— Ты его любил? — её взгляд стал мягче, улыбка ещё подрагивала на губах.

Я замер. Пальцы на мгновение стиснули подлокотник. Потом медленно разжались. Неторопливо потушил сигарету, словно это простое движение давало лишнюю секунду.

— Наверное… Если к тому, что я могу испытывать, вообще применимо слово «любовь». Он был странным, грубым, но верным. И никогда не боялся говорить то, что думает. Даже если это стоило ему неприятностей.

Она кивнула. Её взгляд задержался на моём лице чуть дольше, чем требовалось.

— Он был больше, чем просто ворон, — добавил я тише. — Он был… единственным, кто мог послать короля на хер — и выжить. Хотя бы потому, что мы его спрятали.

— Мне кажется, Морган был бы тобой горд, — улыбнулась она тепло, почти нежно.

— Он бы сказал: «Да пошёл ты», — усмехнулся я. — И был бы прав.

Сильвана

1

В комнате повисла тишина. Но не прежняя, колючая. Иная: тёплая, густая, как мех, проведённый по обнажённой коже. Она заполняла пространство между нами, просачивалась в каждую щель, в каждый вздох. И я ощущала её на губах. Сладковатую, с привкусом нагретого воска и чего-то ещё, чему нет названия.

Свеча на столике догорала. Пламя, тонкое, как последний вздох, подрагивало, отбрасывая на стены тени. Текучие, живые, сплетающиеся и расходящиеся, словно тела любовников в темноте. Воск стекал по оплывшему стержню медленными тяжёлыми каплями. И каждая, падая на бронзовое блюдце, издавала тихий, почти интимный звук. Мягкий шлепок, от которого что-то внутри меня сжималось.

Я смотрела на него и не узнавала: человек, который рассказывал о пиявках в волосах, не мог быть тем, кто пытал людей в подземельях. Или мог? Или это и есть он — весь сразу?

— Спасибо, — произнесла я хриплым, низким, не своим голосом. Голосом женщины, которой я только что стала. — Это было… прекрасно.

— Что именно?

Он склонил голову, так что тень от скулы легла на шею, как лезвие. Его глаза смотрели внимательно, почти жадно. Но в них не было привычного холода. Впервые я видела в них трещину. Тонкую, едва заметную, сквозь которую просвечивало что-то незащищённое. Так смотрит зверь, впервые решивший не отдёрнуть морду от протянутой ладони.

— Всё, — ответила я с лёгкой, невесомой улыбкой. — Ты. Твои истории. Твоя память — то, как ты хранишь в себе то, что другие давно забыли бы. Это то, что делает тебя… Тобой.

Я запнулась, подбирая слово. И не нашла его.

Он молчал. Просто смотрел. И в тишине между нами, в этом душном, пропитанном сандалом и свечным нагаром пространстве, что-то смещалось. Тектонический сдвиг. Беззвучный и необратимый.

В его взгляде мелькнула не насмешка, не расчёт, не та изысканная жестокость, которой он владел как оружием. Благодарность. Сырая, ошеломлённая, почти испуганная, словно он не верил, что кто-то мог посмотреть сквозь все его доспехи и увидеть не чудовище, а человека.

Я чувствовала, как внутри что-то разжималось: то, что было сжато в кулак все эти дни, нет, все эти годы, вдруг ослабило хватку. Я не замечала, как перестала дышать. А когда вдох-

нула, воздух вошёл глубже и легче, будто в груди открылась дверь, о существовании которой я забыла.

Слова Теда и отца — «тиран», «палач», «инквизитор» — всплыли в памяти и впервые звучали тем, чем были: пустыми оболочками, грубыми метками, вырезанными тупым ножом на живом дереве. Эти слова принадлежали другому миру. Сотканному из страха и чужих пересказов.

Я вдруг увидела себя со стороны: маленькая, замёрзшая, сжимаю в руках осколки того, во что верила. Осколки режут ладони, но я не разжимаю пальцы, потому что это всё, что у меня было. Я носила эти слова, как амулеты. «Тиран». «Палач». «Чудовище». Они защищали меня от правды, от необходимости смотреть глубже, от страха увидеть в нём человека.

Потому что если он человек — что тогда? Если он человек, то всё, что он делал, — не звериная жестокость, а осознанный выбор. И это страшнее. Если он человек, то я могла его понять. А понимание вело к прощению. А прощение — к невозможному, к тому, чего я боялась больше всего: к любви, которая не вписывалась ни в какие правила, ни в какие клятвы, ни в какую верность, которой меня учили.

Если он человек, то я больше не жертва. Я соучастница. Я та, кто видела его тьму — и не отвернулась. Если он человек, то и я — не святая. Не дочь своего отца, не невеста Теда, не та, кем меня хотели видеть. Я — та, кто текла от его прикосновений. Та, кто просила ещё. Та, кто осталась.

Всё это рушилось во мне сейчас. Не с грохотом. Тихо, как оседает песок в часах. И на месте руин не было пустоты. Было что-то новое. Пока безымянное, но живое, тёплое, пульсирующее, как вторая жизнь, зародившаяся под сердцем.

Стена между мной и им падала. И за ней стоял не палач, не инквизитор, не воплощение зла. Мальчишка, который угнал машину. Который прятал ворона. Который хотел смотреть на звёзды. Человек, которого сломали слишком рано, чтобы он успел понять, кем мог бы стать. И от этого было не легче. Только честнее.

Я вдруг поняла: мне больше не нужно ненавидеть его, чтобы оставаться собой. Мне не нужно оправдывать свой выбор его звериной природой. Я могла просто признать: я вижу его. Всего. И это не уничтожает меня. Это делает меня свободной.

Напряжение уходило из тела медленно, как отлив. Я вздохнула глубоко, полной грудью. Тепло разлилось по венам. Густое, медленное, как подогретое вино. Вымывало остатки тревоги, растворяло их, не оставляя следа.

Я не говорила ему всего этого. Слова были бы слишком грубыми, слишком плоскими. Они не вместили бы и половины того, что происходило внутри. Но мой взгляд говорил. Я знала это, чувствовала по тому, как дрожали его зрачки, как разжались пальцы, стиснувшие подлокотник. В моём взгляде было признание, понимание, принятие. Полное, безоговорочное, без мелкого шрифта.

Мой взгляд скользнул по комнате. По теням, плывущим медленно и лениво в ритме умирающего пламени. И вдруг — книжные полки. Тёмное дерево, потрескавшийся лак, корешки старые, потёртые. Среди них мелькнуло что-то знакомое. Идея вспыхнула яркая и чёткая, как искра, высеченная из кремня в абсолютной темноте.

2

Я сидела, поджав ноги, чувствуя тепло камина на коже и его взгляд на лице. И вдруг осознала: я больше не пыталась разгадать его. Я начинала понимать.

— Я была в библиотеке замка, — произнесла я тише, чем рассчитывала. — У тебя потрясающая подборка. Каждый том — как отпечаток чьей-то судьбы. Но авторы… они такие разные. Будто ты собрал целый мир противоречий на одних полках.

Подняла на него глаза, чуть склонив голову.

— Скажи, кого ты мог бы назвать своими любимыми писателями? Не для светской беседы — по-настоящему. Тех, кто стал для тебя собеседником. Наставником. Может быть, зеркалом.

Диамант замер. Лицо стало совершенно неподвижным. Он пропускал вопрос сквозь себя, как вино через серебряное сито. Затем медленно улыбнулся. Не иронично. С оттенком тёплой задумчивости. Откинулся в кресле, скрестил руки на груди.

— Начну с Генри Миллера, — произнёс он голосом, опустившимся на полтона. — Он пишет о том, о чём молчат: о стыдном, неловком, обнажённо-человеческом. О плоти, которая думает. О разуме, который вожделеет. Когда я задыхался от правил, его строки напоминали — ты имеешь право быть собой. Даже если это некрасиво. Особенно если это некрасиво.

Я слушала, не перебивая. В груди что-то откликалось. Не осуждение. Глубокое, почти физическое узнавание. Кожа на запястьях покрылась мурашками от его голоса, от близости, от того, как свет камина вылизывал тени под его скулами.

— Оскар Уайльд, — продолжил он с ноткой нежности. — Это про красоту мысли. Фразы. Жеста. Про то, как превратить обыденность в искусство — одним поворотом слова. Его ирония — щит, скрывающий ранимость.

Чуть наклонился ко мне. Так близко, что я улавливала запах его кожи.

— Уайльд показал: можно быть блестящим — и глубоко несчастным. Красота не спасает. Но делает боль терпимее.

Его пальцы медленно прошлись по кожаному подлокотнику. И я не могла отвести от них глаз.

— Маркиз де Сад.

Имя, от которого я вздрогнула. Огонь в камине щёлкнул резко, как хлыст. Я не отводила взгляда, хотя внутри всё сжималось. Не от страха. От предчувствия.

— Не пугайся, — произнёс он мягко. — Ты слышала имя. Но ты не читала его. Не пыталась понять философию, стоящую за скандалом. А он бесстрашен. Идёт до конца в рассуждениях — даже когда это жжёт.

Подался ближе, так что свет камина упал на его лицо снизу, углубив тени под бровями.

— Он — вызов самому понятию нормы. Его тексты — это эксперимент над человеческой природой. Он не призывает к разврату. Он задаёт вопросы, на которые страшно отвечать. И ещё страшнее — отвечать честно.

Я медленно кивнула, впитывала, позволяла его голосу оседать в сознании, как осадок крепкого вина. Где-то внутри спорили несогласные, встревоженные голоса. Но я заставляла их замолчать.

— Из философов — Ницше, — продолжил он. — Его воля к власти — не про насилие. Про самопреодоление. «Стань тем, кто ты есть». Проще быть удобным. Соответствовать. Гнуться. Но Ницше напоминает: ты не обязан оправдывать чужие надежды. Ты можешь создать себя сам — из осколков боли, ошибок, сомнений. Из пепла.

Он замолчал. Взгляд на миг затуманился. Пальцы сжали подлокотник.

— Он бросает тебе зеркало, — тихо закончил он. — Говорит: «Смотри. Это ты. А теперь решай, что с этим делать».

Ещё секунда тишины. Дрова в камине осели с тихим вздохом, выбросив рой золотых искр.

— А из поэтов… Шарль Бодлер, — добавил он мягче и тише. — «Цветы зла» — про двойственность. Про то, что красота и разложение живут рядом, спят в одной постели. Про поэзию в самом тёмном уголке души. Он пишет о пороке так, что понимаешь: это не оправдание зла. Это признание его реальности. И в этом — мужество.

Его голос стал почти шёпотом:

— Бодлер говорит: «Посмотри на тьму. Не отворачивайся. Только так ты увидишь свет».

Я долго смотрела на него, не говоря ни слова. Огонь камина плясал в его зрачках. И в моём сознании складывалась новая картина: не портрет тирана. Образ человека, который не боялся смотреть в лицо собственным противоречиям.

Потом я встала, сама не замечая, как ноги несли меня к книжной полке. Тёмное дерево, потрескавшийся лак, корешки старые, потёртые. Я подняла руку и провела пальцами по ним. Медленно, едва касаясь. Кожа переплётов шершавая, тёплая от камина. Некоторые тома хранили запах пыли и старой бумаги. Другие — табака, будто их читали у огня, с сигаретой в руке.

Я остановилась. Пальцы замерли на тёмно-бордовом корешке с вытисненным золотом названием, которое я знала слишком хорошо.

— «Жюстина».

Я вынула книгу. Она легла в ладони тяжело, как оружие.

— Ты читала? — Диамант приподнял бровь.

— Читала, — ответила я, повернувшись к нему и прижимая книгу к груди. — И знаешь, где я её нашла?

— Просвети меня.

— У священника. Того самого, что служил в приходе моего отца. Благочестивый отец Маркус. Седая борода, тихий голос, воскресные проповеди о грехе и добродетели.

— Классика, — усмехнулся Диамант по-настоящему, с искрой в глазах. — Святой отец, который проповедует против порока, а под сутаной прячет де Сада. Это почти теологический анекдот.

— Именно, — я провела ладонью по обложке. — Я помогала ему разбирать старые книги. И нашла «Жюстину» за рядом проповедей. Переплёт был обёрнут в коричневую бумагу, а сверху написано: «Жития святых».

— О, это великолепно, — рассмеялся он, откинув голову. — Святой отец держал де Сада под обложкой житий. Поэтично. А может, это была его единственная честная проповедь.

— Я тогда долго не могла решить, что делать с этой находкой, — я вернулась в кресло, не выпуская книгу из рук. — Сначала хотела положить обратно. Потом — сжечь. Потом — рассказать отцу. А потом… открыла.

— И что же ты почувствовала?

— Стыд. И жгучий интерес. Одновременно, — ответила я, глядя ему прямо в глаза. — Я читала по ночам, пряча книгу под подушкой. Возвращалась к одним и тем же страницам. Мне было страшно от того, что я не чувствую отвращения. Что что-то во мне… откликается.

Я помнила не сюжет. Ощущение: как горели щёки, как колотилось сердце, как я сжимала бёдра под одеялом, сама не понимая, что со мной.

— А потом я вернула её на место. И больше никогда о ней не говорила. До сегодняшней ночи.

— Значит, тьма позвала тебя задолго до меня, — произнёс он без улыбки. — Ты просто не знала, как её назвать.

— А ты знал.

— Я знал. И поэтому, когда ты спрашиваешь, почему я читаю де Сада, — ответ не в нём. Ответ в том, что ты сама нашла его книгу и не сожгла.

— Я думала, что украла чужую тайну, — я опустила взгляд на книгу в своих руках. — А оказалось — нашла свою.

— Добро пожаловать в клуб.

Он смотрел на меня иначе. Не как на игрушку. Как на равную. Впервые за всё время я чувствовала, что он видел меня. Не тело, не трофей. Меня.

— Нас немного, — добавил он. — Но зато у нас отличная библиотека.

Я рассмеялась легко и неожиданно. Напряжение, державшее плечи, отпускало.

— Знаешь, если бы отец Маркус узнал, что я обсуждаю эту книгу с главой Инквизиции, он бы лишился дара речи.

— А если бы он узнал, что глава Инквизиции обсуждает её с тобой — он бы лишился не только речи.

Мы оба рассмеялись. И в этом смехе не было ни страха, ни игры. Только двое людей, нашедших друг в друге что-то, чего не находили ни в ком другом.

— Спасибо, что не солгал, — произнесла я, погладив корешок книги. — Ни про неё, ни про себя.

— Я не умею лгать о книгах, — ответил он. — Это одно из немногого, к чему я отношусь серьёзно.

— А как же я?

Он помолчал.

— Ты — не книга. Ты сложнее.

— Это комплимент?

Он потянулся к графину.

— Это констатация. Но можешь считать, что да.

Диамант

1

— Расскажи о своём первом опыте… в тех отношениях, что ты предпочитаешь сейчас.

Она произнесла это тихо, но твёрдо, будто переступила через что-то внутри и обратной дороги уже не было. Щёки тронул румянец. Пальцы нервно мяли край платья. Атлас скользил между ними, как живой.

Я медленно повернул голову: в её взгляде не было любопытства. Жажда. Жажда проникнуть глубже. Уголок моего рта дёрнулся.

— «В отношениях, которые ты предпочитаешь сейчас»? — передразнил я, растягивая слова, как патоку. — Сильвана. Из нас двоих — как показала практика — предпочитаю не только я. Спросила бы проще: «Как ты стал тем, кто ты есть?» Или ещё проще: «Как ты стал садистом?»

Тишина. Треск поленьев в камине. Сухой, ломкий, как кость.

— Ну ладно. Расскажу. А то решишь, что всему виной психологическая травма или несчастная любовь. Разочарую — всё гораздо проще. И гораздо хуже. Но не обольщайся. То, что ты найдёшь, не будет похоже на сказку.

Я замер. В глазах мелькнула тень давно забытой боли, смешанной с острым, почти болезненным наслаждением. Не раскаяние. Удовольствие. Чистое, чёрное, неразбавленное, от того, как далеко я зашёл тогда и как далеко мог зайти снова.

Машинально завёл за ухо упавшую прядь. Топаз в серебряной серьге вспыхнул в отсветах пламени.

— Это случилось, когда мне было пятнадцать, — начал я. — К тому времени я перепробовал многое. Смену партнёрш. Групповой секс. Экстрим. Но всё было не то.

Холодная, почти хищная усмешка.

— Мне было скучно. Всё казалось поверхностным. Пустым. Будто я играл в чужие игры по чужим правилам. А я не люблю играть по чужим правилам.

Я замолчал и наблюдал за ней: она не торопила, ждала внимательно и жадно. Её дыхание учащалось, тонкое, неровное, как у зверька, учуявшего хищника. Пальцы замерли на краю платья, вцепившись в ткань, словно в якорь.

— Она была старше, — мой голос стал тише и глуше. — Гораздо старше. Но не в этом дело. Она пришла ко мне сама. Сама вложила мне в руку плеть. Обхватила мои пальцы своими и сжала. И попросила: «Выпори меня. До крови. А потом возьми — всеми способами, какие знаешь. И теми, которых ещё не знаешь».

Я вспоминал: я не был готов. Она была старше и опытнее. Я боялся. Но страх только разжигал, как бензин, вылитый в огонь. И я хотел, чтобы она увидела: я справлюсь.

Пламя в камине метнулось. Сквозняк шевельнул тяжёлую портьеру.

— Не потому, что хотела чего-то получить. А потому, что видела во мне то, чего не видели другие. Все видели лицо. Внешность. Она видела тьму. Ту самую, которую я сам боялся признать. И она не отшатнулась — она протянула к ней руки и сказала: «Дай мне это».

Я провёл ладонью по лицу, от лба до подбородка, словно стирая невидимую пелену. Но на самом деле впускал воспоминание обратно в тело: кожа помнила, пальцы помнили, мышцы помнили замах, удар, влажный звук плети о разгорячённую плоть.

— У неё, как и у меня, не было тормозов, — продолжил я почти шёпотом. — Ни моральных. Ни психологических. Она жила по своим правилам, и эти правила… открывали горизонты, о которых ты даже не подозреваешь. Мы решались на самые безумные вещи — не из желания шокировать. Из стремления понять: где граница? Где та черта, за которой кончается страх и начинается настоящая свобода? Настоящая близость. Та, что обжигает до кости.

Она подалась вперёд. Невольно и бессознательно, как мотылёк к огню. Я видел, как её зрачки расширялись, затопив радужку. Не от ужаса. От смеси тревоги и чего-то, что она отчаянно пыталась не назвать по имени. Грудь вздымалась чаще. Губы приоткрылись. Влажные, чуть припухшие.

— Что именно вы практиковали?

Вопрос вырвался у неё прежде, чем она успела его остановить. Голос дрожал, но не от страха. От голода.

Я достал сигарету, прикурил, затянулся.

— Это не для твоих ушей, — ответил я спокойно. — Пока что.

— Я хочу знать.

— Хотеть не значит быть готовой.

Пауза. Я давал ей прочувствовать эту границу.

— Некоторые вещи… ты не поймёшь, пока не пройдёшь через них сама. А может, и не пройдёшь никогда. Не факт, что ты к этому придёшь. И не факт, что я тебя туда поведу.

Я затянулся снова.

— Скажу лишь: то, что ты видела до сих пор, — детские игры. Было то, от чего тело превращалось в один сплошной нерв. От чего боль становилась не просто фоном, а единственным языком. От чего кровь была не случайностью, а частью ритуала.

Она сглотнула. Я видел, как дёрнулся её кадык.

— Мы использовали… разные приспособления. Некоторые ты видела в той комнате. Некоторые — нет. Тебе пока рано.

— Например?

— Например, — я усмехнулся, — я не буду описывать тебе, что чувствует кожа, когда её касаются раскалённым металлом. Или как кричит человек, когда его границы стирают наждаком. Или что происходит, когда тело превращают в холст, а шрамы — в подпись.

Я смотрел ей прямо в глаза.

— Ты ещё не готова к этому. Возможно, не будешь готова никогда. И я не стану тащить тебя туда силой. Это должно быть твоё решение. Твой шаг. Твоя тьма.

— Первый раз… Это было как удар молнии, — продолжил я. — Я понял, что нашёл себя. Не мальчика, играющего во взрослые игры. Себя настоящего. Потом мы зашли дальше. Намного дальше. У нас не было пределов, и именно это — парадокс, правда? — именно это научило меня контролю.

Короткий, глухой смешок.

— Признаюсь. Пару раз по неопытности я терял его. Контроль. Рука шла дальше, чем нужно. Плеть ложилась глубже, чем следовало. Но она терпела. Более того — направляла.

Брала мою руку, перемещала её туда, где боль превращалась в нечто иное. Шептала: «Сильнее. Вот так. Теперь ты чувствуешь?»

Я чувствовал.

— В итоге это вышло за грань. За грань игры, — продолжил я. — Мы познали всё — и нам было мало. Это стало способом познания. Себя. Мира. Друг друга. Мы шли вглубь, и каждый раз находили новые глубины. Боль. Власть. Подчинение. Освобождение. Всё это — лишь ступени. А лестница уходила в темноту. И мы спускались по ней с наслаждением.

Наконец я посмотрел на неё прямо, без тени смущения.

— Не знаю, чем бы всё закончилось. Но внешние обстоятельства сложились так, что нам пришлось прекратить. Это не зависело ни от меня, ни от неё. Однако я уже не смог вернуться. Не смог жить без единственного, что даёт мне настоящее удовольствие. Настоящее чувство. Потому что это — моя суть. Она помогла мне её открыть, вытащить из-под кожи, как занозу, которая была там всегда. И за это я ей благодарен.

Тишина. Густая, насыщенная, пропитанная невысказанным. Пламя в камине тихо потрескивало. За окном ночь. Плотная, бархатная, непроглядная.

Сильвана долго смотрела на меня. Так долго, что воздух между нами густел. Я видел, как работал её разум: мысли метались за зелёными глазами, сталкивались друг с другом. Восхищение и ужас, жадное любопытство и тошнотворное понимание, что эта женщина из моего рассказа никуда не денется, что она впечатана в меня, как ожог, как клеймо, как рисунок на костях. Ресницы дрожали. Пальцы снова нашли ткань платья на колене. Теребили, мяли.

— Ты любил её? — спросила она наконец тихо, почти шёпотом, будто слово могло обжечь ей рот.

Я улыбнулся. Холодной, узкой, как порез, улыбкой. Она касалась только губ и не трогала глаз.

— Я хотел её. И сейчас хочу. Если желание бить женщину и трахать её до тех пор, пока она не забудет собственное имя, можно назвать любовью — то да. Любил. Но что-то кроме этого… нет. Я уже говорил тебе. Нежность, преданность, вся эта тёплая ложь — не моё. Любовь — иллюзия. Утешительная сказка для тех, кто боится признать, чего хочет на самом деле. А мы с ней не боялись. Мы играли всерьёз. И ставкой было всё.

В комнате пахло табаком и едва уловимо её духами. Чем-то цветочным, сладким, до абсурда невинным в этом разговоре.

Я повернулся в кресле, перегнулся через стол. Дерево скрипнуло под моими локтями. Наши лица оказались так близко, что мир сузился до пары сантиметров. До её дыхания на моей коже. До расширившихся зрачков, в которых отражался огонёк моей зажигалки. Давно погасшей.

— И знаешь, что самое интересное? — мой голос упал до шёпота, губы почти касались её губ. Почти. Но не совсем. И это «не совсем» было хуже любого поцелуя. — Ты сейчас думаешь: он монстр. Ты повторяешь это про себя, как молитву. Но в глубине души, Сильвана… ты хочешь узнать, каково это. Быть на её месте. Под моими руками. Не думать. Не решать. Просто — чувствовать.

Её глаза распахнулись. Не от страха. От удара правды. Мгновенного, точного, как удар ножа. Дыхание сбилось. Губы дрожали, приоткрывались и ничего не говорили. На скулах проступил тёмный, лихорадочный румянец.

Я отстранился не спеша, давая ей почувствовать, как расстояние между нами растягивается, как нить. Болезненно и неохотно.

— Так что, Сильвана, — произнёс я ровным, почти безразличным голосом. Спокойным, как поверхность озера, под которым чёрная ледяная глубина. — Теперь ты знаешь. Всё, что хотела знать, и кое-что сверх того. И если тебе всё ещё интересно… если тебе всё ещё хочется

заглядывать в эту темноту… мы можем продолжить. Я не тороплю. Но и не жду вечно. В конце концов, я всегда открыт к экспериментам.

Она не ответила. Только сглотнула медленно и тяжело. Я видел, как дёрнулось её горло, как напряглись мышцы шеи, как грудь вздымалась часто и неровно. Ткань платья натягивалась на каждом вдохе. Её взгляд метался между моими глазами, губами, руками. Снова глазами.

А я просто смотрел: смотрел, как в ней сходились два течения. Отвращение и голод. Стыд и жар. Разум и тело. Как она пыталась нащупать границу, где кончалась моя жестокость и начиналась правда. Где кончалась опасность и начиналось обещание.

Кончики её пальцев белели на ткани платья.

И я знал: рано или поздно она выберет. Такие, как она, — умные, гордые, убеждённые в собственной неприступности, — всегда выбирали тьму. Нужно лишь показать им, какой тёплой она бывает, какой ласковой, как нежно она обнимает, прежде чем сомкнуть объятия навсегда.

Сильвана

1

Слова Диаманта повисли в воздухе, тяжёлые, как свинцовые капли. Они падали между нами, не оставив ни трещины, ни эха. В них не было злобы. Только холодная, выдержанная, как старый яд, правда, которую он давно принял как часть собственной крови и которую мне только предстояло выпить до дна.

Полумрак сгущался до плотности бархата. Воздух становился осязаемым: ложился на плечи, забивался в горло, отделял нас от всего остального мира непроницаемой завесой. Камин едва дышал. Угли мерцали тускло-рыжим. И каждый вдох пламени выхватывал из темноты лицо Диаманта фрагментами: линия скул, острая, будто лезвие, изгиб губ, глаза — два осколка голубого стекла, в которых огонь не отражался, а тонул.

Я сидела напротив. Пальцы впились в подлокотники. Дыхание едва заметное. Но внутри — буря: ревность скреблась под рёбрами. Горячая, почти физическая. Ревность к той женщине, уверенной, бесстрашной, ведущей юного Диаманта в мир, двери которого мне были заперты. Я видела её так ясно, словно она стояла за его плечом. Рядом с ревностью — жгучий, постыдный интерес. Жажда: что значило быть для него такой? Не просто партнёршей, а проводником в его тёмный, завораживающий мир? И если он не способен любить, может быть, хотя бы удержать его? Привязать к себе через влечение, через плоть, через готовность разделить его тайны?

— После твоего рассказа… — произнесла я тише, чем хотела, но твёрдо, медленно поднимая взгляд. — Мне захотелось пойти с тобой в пыточную. Не из-за условия. Не из-за долга. Самой. По собственной воле.

Диамант не шевельнулся. Только бровь чуть приподнялась.

— Ты уверена? Или это вспышка? — растянул он слова, словно пробуя их на вкус. — Ты ведь даже не представляешь, о чём просишь.

— Я хочу понять. Хочу почувствовать то, что чувствовала она. Стать для тебя…

— Ты всего лишь получила плёткой по заднице, — резко перебил он. — И не так давно кричала, что я тебя избил и изнасиловал. Так что рано делать выводы. Настоящая боль — это глубже. Сильнее. Плеть, грубый секс — это так, развлечения. Но дело даже не в боли. Дело в том, как разум ломается. Трещит по швам. И пересобирается заново — уже другим. Ты вдруг понимаешь, что всё, во что верила, — иллюзия. Что границы, которые считала нерушимыми… можно стереть одним движением.

Он щёлкнул пальцами. Я вздрогнула. Но не отвела глаз.

— Откуда ты знаешь, что я не готова?

— Потому что ты ещё не прошла точку невозврата, — его голос стал мягче и опаснее. — Ты ещё можешь сказать «нет». Встать. Уйти. Вернуться к своей прежней жизни, к своим иллюзиям. Но когда ты перешагнёшь черту… всё изменится. Навсегда.

Он наклонился ближе. Его тень накрыла меня целиком. Я чувствовала его запах: сандал, кожа, что-то горьковатое, дымное.

— Ты станешь такой же, как я, — его голос упал до шёпота. — Не сможешь жить по-другому. Обычные отношения станут тебе не нужны. Пресно. Мертво. И даже когда ты мне надоешь — а ты надоешь, Сильвана, вы все надоедаете — ты будешь искать себе кого-то похожего на меня. Не рыцаря на белом коне. Тебе будет нужен только тот, кто захочет причинить боль.

Я молчала. Его слова оседали внутри тяжело, слой за слоем. Но в этой тяжести пульсировало что-то тёмное и влажное. Волнующее, почти эротическое.

— А если я хочу? — прошептала я. — Если я хочу узнать, на что способна? Узнать… какая я на самом деле? Под всеми этими слоями. Под всей этой ложью, которой я себя кормила.

— Завтра, — произнёс он, медленно поднимаясь и подходя к камину. — Завтра в пыточной мы оба узнаем, что ты способна выдержать. И захочешь ли пойти дальше. Или побежишь.

Он повернулся. И в его глазах я увидела то, чего не замечала раньше: не просто холод, не только цинизм. Ожидание. Жадное, голодное, почти нежное, как будто ему было важно не просто сломать, а увидеть, как я восстану из пепла.

— Что ж. Я предупредил, — добавил он тише и мягче. — И учти, Сильвана: это будет не игра. Это будет испытание. Для тебя. Для меня. Для нас обоих. Если ты пройдёшь — мы пойдём дальше. Глубже. Пока у меня ещё есть интерес вести тебя. Пока ты не перестанешь быть… интересной.

Я вдохнула глубоко, до дрожи в рёбрах. В груди разгоралось что-то странное. Не мысль. Ощущение. Кровь пульсировала в висках, кожа горела, будто чьи-то невидимые пальцы уже вели по ней.

Молчание затягивалось. Я вдыхала запах остывающей золы, старого дерева и его. Тёмный, пряный, пропитавший всё вокруг. Слова, которые я держала внутри, сдвинулись с места, как камень, качнувшийся на краю обрыва.

— Я хочу извиниться, — произнесла я тихо. — За те слова. «Избил». «Изнасиловал».

Слова давались тяжело, как камни, которые я вытаскивала из горла. Но с каждым слогом дышать становилось легче. Диамант не шевельнулся, но поднял на меня глаза. В его взгляде не было ни осуждения, ни жалости. Только внимание, безжалостное в своей полноте.

— Тогда я не понимала себя, — продолжила я. — Я испугалась того, что ты во мне разбудил. Испугалась ощущений… даже там, в пыточной. Несмотря на страх. Несмотря на боль. Я чувствовала… влечение. Такое, от которого темнеет в глазах. Никогда. Ни к кому я не испытывала такого. Даже намёка.

Голос дрожал, но я продолжала:

— И потому не поняла. Приняла за уродство. Спряталась за этими словами, как за щитом. Мне было легче стать жертвой — знаешь, как это звучит? «Он принудил. Он заставил. Он взял силой». Это было проще, чем признать, что моё тело отвечало. Что я хотела этого. Что у меня был выбор — и я его сделала, пусть тогда ещё не могла себе в этом признаться.

Пауза. Я вдохнула глубоко, до боли в лёгких.

— Теперь, зная тебя, я вижу: ты не пошёл бы дальше, если бы не почувствовал ответ. Ты не берёшь без согласия — даже если это согласие живёт не в словах, а в дыхании, в повороте бедра, в том, как расширяются зрачки. Ты читал меня с первой секунды — насквозь. И то, что я принимала за ужас… это было любопытство. Голод. Желание узнать, что за тварь живёт во мне — тёмная, дикая, мокрая от предвкушения. Настоящая.

Он молчал так долго, что я начала сомневаться, не ошиблась ли. Потом он кивнул. Коротко и точно. И в этом кивке было больше принятия, чем в любых словах.

— Проехали, — произнёс он ровно. — Извинения приняты. Не потому, что ты обязана, а потому, что вижу — ты наконец посмотрела на себя без лжи. Это редкость. Большинство до могилы прячутся за удобными историями.

Он вернулся в кресло, откинулся, скрестил руки на груди.

— Раз ты признаёшь правду, мы можем идти дальше. Но запомни: не становись покорной. Иначе быстро мне наскучишь.

В его голосе впервые за вечер звучала ирония. Не злая. Ленивая, хищная.

— Покорность превращает игру в рутину. Мне не нужна кукла, которая кивает на каждое слово. Мне нужна та, кто спорит. Сопротивляется — даже когда уже согласна. Та, кто чувствует страх — и всё равно делает шаг.

Внутри что-то дрожало. Не обида. Облегчение. Горячее, почти эйфорическое. Он не хотел послушания. Он хотел меня. Всю, с трещинами, с упрямством, с тем тёмным голодом, который я только начинала признавать.

— Значит, ты хочешь, чтобы я сопротивлялась? — спросила я с усмешкой, в которой смешались вызов и благодарность.

— Хочу, чтобы ты оставалась собой, — поправил он. — Даже когда это будет бесить. Даже когда тебе самой станет страшно от того, что ты способна чувствовать. Но когда я решу остановиться, а тебе будет казаться, что можешь ещё, — смирись. Значит, ты не готова. В этой игре контроль — мой. Над тобой. Над собой. Над нами обоими.

Я кивнула. В груди разливалась лёгкость. Странная, звенящая. Впервые рядом с ним мне не хотелось ни бежать, ни закрываться. Хотелось идти туда, куда он укажет, но своими ногами. Не вслепую, не на коленях. С открытыми глазами.

— Хорошо. Я поняла.

Диамант улыбнулся одним уголком рта. Едва заметно. Не торжество. Удовлетворение мастера, увидевшего, что ученица наконец перестала сопротивляться не ему, а себе.

— Тогда завтра в пыточной мы проверим, насколько крепко твоё слово, — произнёс он. — И насколько глубоко ты готова в себя заглянуть.

2

Я всё ещё улыбалась. Уголки губ тянулись вверх, почти против воли, как будто внутри разжалась какая-то пружина, которую я не подозревала в себе. В груди было тепло и пусто одновременно — та странная, звенящая пустота, какая бывает после искреннего смеха, когда тело ещё помнит вибрацию, а разум уже плывёт в мягкой, обволакивающей тишине.

— У меня ещё несколько вопросов, — произнесла я. — Обещаю: после этого оставлю твою грешную душу в покое. На сегодня.

Голос звенел легче, чем я ожидала. Почти детская игривость, за которой пряталось другое — жгучее, лихорадочное любопытство. То, что не давало заснуть, то, что жгло изнутри, как тлеющий уголёк под рёбрами. Он приоткрыл створку в свой внутренний мир — и мне хотелось заглянуть ещё. Дальше. Глубже.

Диамант слегка кивнул. Едва уловимое одобрение скользнуло во взгляде, и тут же погасло, сменившись привычной ленивой усмешкой. Он скрестил руки на груди — осознанный барьер, но в нём не было агрессии. Скорее поза человека, который позволял себя разглядывать.

— Спрашивай, пока я добрый.

В его голосе звучала ирония. Но под ней, на самом дне, мне почудилась тень любопытства. Он ждал вопроса. Может быть, даже хотел его.

Я на мгновение замерла, подбирая слова. В горле пересохло. Пальцы сжали край платья — не от страха, от предвкушения, от жара, который медленно разливался по телу.

— Что ты предпочитаешь из музыки? — спросила я. — Наверняка что-то мрачное и величественное.

Диамант усмехнулся. Не иронично. Почти тепло, если это слово вообще применимо к нему. Так усмехаются люди, когда слышат вопрос, на который им приятно отвечать. Он чуть откинулся в кресле, лицо смягчилось, ушла холодная напряжённость, и я впервые подумала, что этот разговор — не пытка для него, а редкое удовольствие.

— Фолк, — произнёс он. — Не тот, что играют в пабах под пиво, а настоящий: с древними мотивами, с эхом веков. Wardruna, Heilung… Музыка, в которой слышится дыхание северных ветров и шёпот рун. Она не развлекает — она пробуждает.

Он замолчал. Я видела, как слова ложились на его лицо, и по нему проходила едва заметная тень. Пауза затягивалась, как смола, и в ней я вдруг услышала что-то, чего он не произносил вслух: он не просто слушал эту музыку. Он ею жил. Она была его дыханием, его ритмом, его тёмной молитвой.

— Готический рок, — продолжил он тише. — Fields of the Nephilim, Sopor Aeternus, Lacrimosa, Tiamat… Грань между красотой и отчаянием, где мелодия становится исповедью.

Его взгляд затуманился. Он смотрел не на меня — сквозь, в какое-то внутреннее пространство, где эти звуки существовали в первозданной силе. И я вдруг поняла: он не просто перечислял любимых исполнителей. Он называл части себя. Те, что не умещал ни в слова, ни в прикосновения, ни в игры с властью.

— И… симфонический блэк, — добавил он, и голос его изменился, стал глубже, темнее, как вода на больших глубинах. — Emperor, Dimmu Borgir, Cradle of Filth… Музыка, которая не просто пугает — она возвышает через тьму.

Я слушала, впитывала каждое слово. В его выборе не было случайности. Каждое название дополняло картину, как осколок мозаики, и передо мной проступал образ: не просто холодный циник, не просто палач и инквизитор, а алхимик, который умел превращать страх в красоту, боль — в откровение, хаос — в порядок. Он не прятался в темноте. Он её возделывал.

Диамант поднялся. Движение было плавным, хищным — тело перетекало из одной позы в другую с той природной грацией, которую невозможно подделать. Он подошёл к стереосистеме, массивной, с деревянными панелями и латунными регуляторами, и его пальцы легли на кнопки с привычной точностью.

Короткий щелчок. Потом ещё один.

И комната вздрогнула.

Первые аккорды ударили в грудь раньше, чем я успела понять, что происходит. Низкий, плотный бас прокатился по полу, проник через ступни, поднялся по позвоночнику, как тёплая волна, смешанная с холодом. Я ощущала его кожей — не слухом, не мыслью, а всем телом, как вибрацию, как давление, как чужое присутствие, заполнившее комнату до краёв.

На панели светилось: «Tonight in Flames». И это название отозвалось во мне чем-то пророческим.

Звук нарастал. Вокал взмыл, резкий, рваный, почти болезненный, и рухнул вниз, в бездну, увлекая за собой. Я чувствовала его в солнечном сплетении, в горле, в кончиках пальцев. Гитара звенела так, будто кто-то рвал проволоку у меня под рёбрами — и от этого рвущегося звука по телу бежали мурашки, не страха, не холода, а какого-то незнакомого, щекочущего возбуждения.

Я замерла. Это не было неприятно. Это было ошеломляюще.

Музыка не просила, не предлагала, не ждала разрешения. Она брала. Входила под кожу, растекалась по венам, будила то, что спало в самом низу живота — первобытное, тёмное, голодное. То, чему я раньше не позволяла иметь голос.

Я закрыла глаза. И вдруг поняла, что больше не сижу в кресле. Мир растворялся. Стены отступали, гасли, теряли плотность. Оставалась только музыка, и я висела в ней, как в тёмной воде, — не тонула, не всплывала, просто отдавалась течению, а оно держало меня, не давало

упасть и одновременно тянуло вглубь, туда, где не было ни страха, ни стыда, ни памяти, ни имён.

Тьма, пронизанная светом. Страх, ставший проводником. Хаос, рождающий порядок.

Я вдруг увидела мир его глазами: не чёрно-белым, не расколотым на «добро» и «зло», а живым, противоречивым, величественным в своей жестокости. Таким, где боль — не наказание, а язык. Где красота неотделима от разложения. Где тьма — не пустота, а пространство, в котором можно дышать.

Музыка кричала моим голосом. Тем голосом, который я годами заталкивала обратно в глотку. Который хотел выть, хотеть, требовать, признавать. Который знал всё, о чём я боялась думать. И она кричала вместо меня.

Слёзы текли по щекам, а я не замечала. Не от страха, не от боли. От избытка. От того, что впервые кто-то включил музыку, которая звучала так, как я чувствовала внутри. И это было невыносимо и прекрасно одновременно.

Она стихла не сразу. Звуки растворились медленно, как уходит соль в тёплую воду, оставляя после себя звонкую, гулкую тишину. В ушах ещё звенело. Грудь ходила ходуном.

Я открыла глаза и не сразу поняла, где нахожусь. Комната возвращалась медленно: сгустки теней, остывающий камин, запах сандала и персика. И в центре — он.

Диамант стоял у окна и наблюдал. Не торжествующе. Не насмешливо. Просто смотрел — как смотрят на костёр, на море, на явление, которое не требует объяснений. Он ждал, когда я вернусь.

— Нравится? — спросил он без нажима.

Слова казались лишними. Слишком плоскими, слишком маленькими для того, что только что произошло. Но он ждал. И я должна была ответить.

— Это… как ты, — выдохнула я хрипло. — Жуткое и прекрасное.

Он улыбнулся. Едва заметно. Так, как улыбаются тем, кто наконец произнёс вслух правду.

— Ты плакала.

Не вопрос. Констатация.

— Да.

— Почему?

Я сглотнула. Во рту было сухо, язык казался чужим, тяжёлым. Но лжи в этом вопросе не было места.

— Потому что впервые кто-то включил музыку, которая звучит так, как я чувствую внутри.

Он смотрел на меня долго. Очень долго. Потом кивнул медленно, словно подтверждая что-то, что знал заранее. Что-то, что не требовало доказательств, но теперь обрело голос.

— Ты начинаешь понимать, — произнёс он тихо. — Не только меня. И не только музыку. Себя.

Я вытерла слёзы тыльной стороной ладони. Грубо, неловко. Но впервые — не стыдясь. Не отводя глаз.

— У тебя есть ещё что-нибудь, что звучит так же?

Диамант повернулся к стереосистеме. Его пальцы легли на панель, скользнули по латунным ручкам, как по клавишам невидимого инструмента.

— У меня есть целая ночь.

Диамант

1

За окном занимался рассвет. Медленный, неохотный, словно само небо не решалось обнажиться перед городом, который не заслуживал ни света, ни пощады. Розовато-серый, как пепел остывшего костра, он проступал сквозь тучи болезненными разводами, и в этом свете

комната казалась выцветшей, будто кто-то стянул с неё ночной покров и обнажил усталую, влажную кожу.

Пахло остывшим потом. Нагретым деревом. Ею. И ещё — чем-то третьим, что рождалось не из запахов, не из слов, а из самого воздуха, который мы делили. Из этого странного, почти невыносимого равновесия, в котором она перестала быть просто телом, а я — просто тем, кто это тело брал.

Между нами возникал общий язык. Тот, на котором говорят без слов.

Она сидела, поджав ноги, всё ещё босая, всё ещё с припухшими от слёз веками, и смотрела на меня так, как смотрят на море перед штормом: с восторгом и смутным предчувствием беды.

— Ладно, милорд, — произнесла она, чуть склонив голову набок. — Последний вопрос. Точнее, два. Давно ли ты куришь… и почему?

Я стоял у окна, спиной к ней, и не сразу обернулся. Дым ещё держался в лёгких — горький, тёплый, привычный. Тот самый дым, что заменял мне тишину, когда тишина становилась слишком громкой.

Медленно обернулся. Холодный свет первых лучей скользнул по лицу, высветил скулы, прорезал тени под глазами. Я знал, как выгляжу в этот час: осунувшийся, резкий, с сигаретой в пальцах и ночью, застывшей в зрачках. И знал, что она видит не это. Она видела то, что хотела видеть. Пока.

— С тринадцати, — ответил я ровно. — А причины нет. Просто привычка. Кто-то скажет — дурная. Но когда мне было дело до чужого мнения?

Она приподняла бровь. Озорство вспыхнуло во взгляде быстро, как спичка. Она наклонилась вперёд, и в этом движении не было ни покорности, ни кокетства. Только вызов.

— Можно бонусный вопрос?

Я усмехнулся.

— Если вопрос будет достойным.

— Я заметила, что после секса ты становишься… мягче, — произнесла она. — По крайней мере, не такой льдышкой, как обычно. В чём причина?

Я замер. Не от раздражения. От интереса. Она заходила туда, куда другие боялись даже взглянуть. И заходила безоружной — с одним лишь любопытством, острым, как лезвие.

Я подошёл к креслу и опустился в него тяжело, по-хозяйски. Кожа скрипнула под моим весом. Свет лёг наискось, разрезав лицо на свет и тень. Смотрел на неё долго. Тем глубоким, неподвижным вниманием, от которого у неё всякий раз перехватывало дыхание. Я видел это сейчас: как поднялась грудь, как дрогнули ресницы, как она сглотнула, стараясь не отвести взгляд.

— Это способ снять напряжение, — объяснил я. — После — мне проще быть рядом с человеком. Не нужно притворяться. Не нужно держать дистанцию. Всё становится… яснее. Тише.

Пауза.

— И я не льдышка.

Слово резануло. Не сильно. Но достаточно, чтобы я почувствовал лёгкое раздражение от штампа, который ей нравилось на меня навешивать. Льдышка. Удобная, безопасная метка. Как «чудовище». Как «палач». Слова, за которыми так просто прятаться от правды.

— Просто умею держать себя в руках, — добавил я. — А это, знаешь ли, не одно и то же.

Перевёл взгляд на окно. Рассвет уже проел ночь до костей. Скоро утро. Скоро всё начнётся.

— Ночь на исходе, — произнёс я. — Пора спать.

Она не встала. Я знал, что не встанет. Знал ещё до того, как она открыла рот. Знал по тому, как напряглись её плечи, как пальцы вцепились в край кресла, как внизу живота — у неё, не у меня — скрутилось то самое, тёмное и жадное, что она уже не могла спрятать.

— А не хочешь ли ты перед сном чего-то… более интересного? — спросила она почти шёпотом. Голос не дрогнул. Только стал ниже, гуще, как перегретый мёд.

Я поднялся. Подошёл медленно, так, чтобы она слышала каждый шаг, чтобы тишина между нами натянулась до предела. Остановился так близко, что ощущал тепло её тела ещё до прикосновения. Запах её кожи ударил в ноздри. Запах, от которого в паху наливалось тяжестью.

Мой взгляд задержался на её губах. Потом скользнул ниже — по линии шеи, по выступам ключиц. Я взял её руку. Медленно. Почти невесомо. Она не сопротивлялась. Её пальцы были прохладными, чуть влажными. Я поднёс её ладонь к своей груди, прижал туда, где под тканью горела кожа и глухо, как подземный барабан, билось сердце. Потом повёл ниже. Вдоль ребра. К поясу. Прижал.

Её пальцы легли на член сквозь ткань штанов. Он уже был твёрдый, горячий, до боли налитый кровью. Она вздрогнула. Я почувствовал, как её дыхание сбилось, как рука дрогнула, как пальцы сжались — чуть-чуть, непроизвольно, будто тело опередило разум. И я позволил этому движению случиться. Позволил ей почувствовать всё: длину, тяжесть, напряжение, каждую вену, каждое биение пульса под кожей.

— Чувствуешь? — спросил я низко, с той самой хрипотцой, которую она уже научилась распознавать. — Это то, что ты со мной делаешь.

Она не ответила. Только сглотнула. Я видел, как дёрнулось её горло. Как приоткрылись губы. Как расширились зрачки, затопив радужку чернотой.

Я накрыл её ладонь своей и сжал крепче. Чтобы она почувствовала. Всё. Без остатка. Наклонился к её уху. Дыхание обожгло нежную кожу за мочкой.

— Хочешь больше? — прошептал я. — Хочешь, чтобы я трахнул тебя прямо сейчас? Здесь? На этом кресле? На полу? На кровати?

Она дышала рвано. Грудь вздымалась часто, неровно. Я чувствовал, как дрожит её рука под моей, как колени сжались, как по телу прокатилась волна — от запястья до самого низа.

— Да, — выдохнула она.

Одно слово. В нём было всё: желание, нетерпение, капитуляция, мольба. Всё, что я хотел услышать. И всё, чего не должен был давать.

— Плохо, — произнёс я.

И отпустил её руку. Резко. Холодно. Отступил на шаг. Смотрел без насмешки и без торжества. С одной лишь холодной, точной решимостью, которая была мне знакома лучше любого чувства.

— Я не трону тебя до пыточной.

Она смотрела на меня, и в её глазах разом вскипало всё: непонимание, уязвлённость, жар, который я только что разжёг и бросил гаснуть.

— Так ощущения будут острее, — сказал я. — Каждый час ожидания — это ещё один поворот винта. А уж там… Там ты получишь всё. И ещё сверху.

Слова повисли в воздухе. Не угрозой. Обещанием.

— Ложись спать, — добавил я. — Я выкурю сигарету. И тоже лягу.

Она медленно кивнула. Я наблюдал, как внутри неё всё бурлило: желание, нетерпение, лёгкое разочарование и странное, почти детское предвкушение. Она не прятала. Слишком устала, чтобы носить маску.

Встала. Молча сняла одежду. Не оборачивалась, но знала, что я смотрю. Знала каждым позвонком, каждой клеткой кожи. И от этого движения её были медленнее, чем нужно. Ткань

соскальзывала с плеч, обнажая линию позвоночника, лопатки, поясницу — бледную, с синяками от моих пальцев и следов от плети.

Легла на кровать, подтянув колени к груди. Свернулась, как зверёк. И закрыла глаза.

Я знал: она не спала.

Я бесшумно поднялся. Щелчок зажигалки. Пламя лизнуло кончик сигареты. Первая затяжка — глубокая, жадная, до самого дна лёгких. Дым заполнил меня горечью и привычным спокойствием, тем самым, которое не имело ничего общего с покоем, но давало иллюзию контроля.

Подошёл к окну. Стекло было холодное. Я прижался к нему плечом — и этот контраст после жара её тела отрезвлял, как пощёчина. Холод просачивался сквозь ткань, полз по коже, остужал кровь, которая ещё гудела в паху.

За окном рассвет разъедал ночь. Небо наливалось тёмно-багровым — цветом старой крови.

Я смотрел на этот свет и думал.

Она думает, что играет со мной. Что бонусные вопросы, дерзость, эти липкие взгляды — оружие. Что она может ходить по краю и не сорваться.

Она не понимает. Правила устанавливаю я. И завтра она поймёт это не головой — телом. Кожей. Тем местом внутри, куда я уже добрался и откуда меня не вытравить. Тем местом, которое сейчас ныло у неё внизу живота, мокрое, горячее, пульсирующее в такт моему имени.

Я выдохнул дым в стекло. Серое облако расползлось по прозрачной глади, искажая багровое небо, превращая его в рваную рану.

Обернулся. Она лежала на боку. Простыня сползла до бёдер, обнажив линию позвоночника — бледную, почти светящуюся в полумраке. Губы приоткрыты. И на них — улыбка. Тонкая, как трещина на фарфоре.

Она знала. Не разумом — чем-то более глубоким, тем, что жило в ней ещё до слов, до мыслей, до меня. Знала, что завтра всё изменится.

Я смотрел, как ночь умирала. Медленно, в агонии, заливая комнату красноватым светом. Смотрел на её тело, расслабленное, отданное сну и мне. На синяки от моих пальцев на её бедре — маленькие тёмные цветы.

Затянулся в последний раз. Прижал окурок к подоконнику. Услышал тихое шипение. Запах палёного дерева — резкий, едкий, как пощёчина рассвету.

И подумал:

Завтра будет интересно.

Глава 3

Глава 3.
Эстетика Агонии

«Боль — это дверь. Но по ту сторону не свобода. По ту сторону — я».

Сильвана
1

Я вернулась из темноты не сразу.

Сон отпускал медленно, нехотя, как вода, не желающая выпускать утопленника. Я всплывала слоями: сначала тепло, свернувшееся под рёбрами; потом тяжесть одеяла на бёдрах; потом воздух — густой, неподвижный, пахнущий остывшим камином и чем-то сладковато-древесным.

И только потом — свет. Он сочился сквозь тяжёлые бархатные шторы, густо-вишнёвые, с истёртым золотым шитьём по кромке, и ложился на пол бледными полосами. Не свет, а следы. Ровные, безжалостные, как швы на ране. Они тянулись от кровати к двери, резали ковёр на ровные доли, и в них было что-то неизбежное, как сама судьба, от которой не свернуть.

Я задержала взгляд на этих линиях. Полдень. Тот час, когда время теряет остроту, застревает между утром и вечером, как муха в смоле. Я не знала, сколько проспала. И не хотела знать.

Воздух пах не только камином. Под пеплом, под горьковатой сладостью остывшего дерева, поднимался он. Его запах. Терпкий, мужской, тёмный, как старая кожа и нагретый металл, с нотами гвоздики и корицы, въевшимися в простыни, в мою кожу, в сам воздух. Запах власти. Он не выветривался. Он оставался на теле, как метка. Как ожог. Как обещание, от которого внизу живота шевелился горячий, голодный узел.

Я лежала на боку, спиной к нему. И чувствовала его дыхание. Ровное. Размеренное. Слишком выверенное, чтобы быть дыханием спящего. Оно касалось моего затылка, шеи, ложилось на кожу тёплыми, размеренными толчками, и от этого простого, почти будничного контакта по телу расходилась слабая дрожь.

Я медленно повернула голову.

Диамант лежал рядом. Свет делал с его лицом странные, почти жестокие вещи: смягчал скулы, стирал тень жёсткости с челюсти, разглаживал складку между бровей. Без масок, без холодной усмешки — только расслабленные черты, чуть приоткрытые губы и тени длинных ресниц, лежащие на скулах, как мазки тушью. Он выглядел юным. Почти невинным. И от этого ещё опаснее.

Я знала, что этот покой — ловушка. Что так он выглядит ровно до того мгновения, пока не поднимет веки и не вонзит в меня взгляд: пронзительный, оценивающий, лишающий воли. Знала. И всё равно смотрела жадно, воровски, как смотрят на чужое, не имея права отвести глаз. В голове мелькнуло: таким ресницам любая женщина позавидует, а любой мужчина — убьёт.

Я вспомнила вчерашний вечер. Его голос, когда он рассказывал о вороне. О мальчике, который прятал птицу в чулане. О лягушке на отцовском сапоге. Тогда его лицо стало мальчишеским, беззащитным — как сейчас. Тот человек и тот, что спал рядом, — одно целое. И я хотела узнать его до конца.

Он выглядел нормальным. Человечным. Тем, кем я видела его так редко, что каждый раз это казалось галлюцинацией. Не повелителем. Не испытателем. Не чудовищем в шёлке и коже. А юношей, уснувшим рядом с девушкой. И от этого контраст бил больнее. Острее. Как нож, который входит мягко, а режет до кости.

Мой взгляд скользнул ниже. По плечам. По линии груди, где под кожей угадывались мышцы — не показные, а хищные, рабочие, как у зверя, рождённого для охоты. По тёмным волосам, рассыпавшимся по подушке небрежно, по-мальчишески. Единственное, что он не мог контролировать.

И тогда нахлынуло. Как удар тока. Как ожог изнутри. Вчерашний вечер. Его голос — непривычно тихий, обнажённый, почти уязвимый. Его взгляд, в котором мелькнуло что-то бездонное, безымянное, от чего сердце сжалось так, будто его сдавили в кулаке.

Не страх. Что-то горячее, чему нет названия. Потому что названия приручают. А это не приручалось.

Страх ушёл. Я поняла это не головой — телом. Он ушёл тихо, как вода из песка, оставив после себя пустоту. И пустота эта тут же заполнилась новым: свободой. Тёмной, пьянящей, почти пугающей. Свободой того, кому больше нечего терять.

Впервые за долгое время я могла смотреть на него без дрожи в пальцах. Без комка, перекрывающего горло.

И вместо страха пришло другое. Не влечение. Желание. Густое, тяжёлое, горячее, как расплавленный воск, стекающее по позвоночнику вниз. Потребность прикоснуться. Почувствовать. Доказать ему и себе, что между нами есть что-то кроме поводка и ошейника. Кроме власти и покорности. Что я тоже могу играть. Что я не пешка, добравшаяся до края доски. А ферзь, выбирающий направление удара.

Вчерашний вечер — мои губы на его члене, мой рот, вобравший его целиком, его рваный выдох над моей головой — только раздразнил. Дал ему разрядку. Оставил моё тело голодным. Полым. Пульсирующим. Оно жаждало его. Его жёсткости. Его веса. Его рук, вжимающих в простыни. Жаждало так, что бёдра сжимались сами. Что между ног становилось горячо и влажно от одной мысли: он рядом. Он тёплый. Он мой. Хотя бы сейчас. Хотя бы на минуту.

Почему бы и нет?

Мысль пришла с горькой усмешкой. Той самой, которой я научилась у него. Если он устанавливает правила — почему я не могу их сломать? Если он ведёт — почему я не могу перехватить? Почему я должна вечно идти по его следам, когда могу оставить свои? Глубже. Чернее. Неизгладимее.

Я приподнялась на локте. Сердце билось в горле, гулко, отчаянно, как кулак в запертую дверь. Но в голове была хрустальная ясность, какая бывает перед прыжком в ледяную воду: всё лишнее отсечено. Оставалась только суть. Только тело. Только он. Только расстояние между моими губами и его кожей — несколько сантиметров пустоты, которые я собиралась уничтожить.

Я наклонилась.

И тут, как брошенный в колодец камень, из памяти всплыл Тед. Его руки, которые всегда касались меня так, будто я сделана из тонкого стекла. Его губы, которые никогда не требовали. Его голос: «Я дождусь. Мы всё сделаем правильно».

Какой чушью это казалось теперь. «Правильно» не заставляло сердце колотиться. Не выкручивало низ живота. Оставило меня пустой, незнакомой самой себе. А он — тот, кто спал сейчас рядом, — за одну ночь вскрыл то, что я годами прятала даже от себя.

Я больше не хотела «правильно». Я хотела его.

Первый поцелуй — в плечо. Лёгкий. Невесомый. Как проба. Как первый шаг на тонкий лёд, когда прислушиваешься: не хрустнет ли? Его кожа была тёплая. Чуть солоноватая на вкус. И от этого прикосновения по моим губам прошла дрожь, словно я тронула оголённый провод.

Он не шевелился.

Тогда — выше. Ближе к шее. Туда, где под кожей бился пульс: ровный, мощный, завораживающий, как метроном, отсчитывающий чужое время. Мои губы прижались к этой точке. И

я почувствовала, как его кровь толкнулась мне навстречу. Горячо. Властно. Словно даже его тело не могло не командовать.

Его дыхание сбилось. Едва заметно. На одну долю секунды. Но я почувствовала. Кожей. Губами. Каждым нервным окончанием. Он не спал. Или проснулся от моего прикосновения. Или — и эта мысль обожгла, как глоток крепкого алкоголя, — ждал, что я сделаю дальше.

Я улыбнулась. Не от радости. От азарта. От пьянящего, головокружительного ощущения собственной дерзости. От привкуса запретного на языке.

Медленно, почти невесомо, губы поползли вниз — по его груди. Каждый поцелуй — шаг в темноту. Каждый — вызов. Каждый — признание вслух того, что раньше пряталось так глубоко, что я сама не знала, где искать.

Кончик языка — по впадине между рёбрами. Его кожа под моими губами становилась горячее. Мышцы пресса едва заметно напряглись.

Мне хотелось запомнить это: его тепло. Его запах. Здесь, внизу, он был откровеннее, животнее. Его беззащитность — настоящую или разыгранную, какая разница, если от неё кружилась голова.

Мне хотелось, чтобы он проснулся и увидел. Чтобы понял: я делаю это не из страха. Не из покорности. Не потому что он позволил. Потому что я хочу. Потому что я выбираю. Потому что моё тело, мой голод, моя жажда — тоже власть. Другая. Та, которую нельзя отобрать.

Мои губы уже скользили по животу. Ниже пупка. Туда, где кожа стала совсем горячей. Где под ней что-то напряглось, окаменело, отвечая мне прежде, чем он сам решил ответить.

И тогда его пальцы сомкнулись на моём запястье.

Не резко. Не больно. Но непреклонно. Железная хватка. Точная. Контролирующая. Та, от которой по коже бежало не страх — электричество. Его большой палец лёг точно на мой пульс. И я почувствовала, как моё бешеное сердцебиение отдаётся в его руку, выдавая всё, что я пыталась спрятать за дерзостью и усмешкой.

В его молчании, плотном, как третье тело между нами, читался вопрос. Или предупреждение. Или приглашение. Что-то холодное, властное, опасное.

И оттого настолько волнующее.

2

Я вздрогнула. Не от прикосновения — от взгляда. Он вонзился в меня, как скальпель: ледяной, препарирующий, с хирургической точностью зрачков, суженных до булавочных головок. Вчерашнее тепло выжгло дотла. Не осталось ничего, кроме холодного, отполированного интереса.

Так смотрят на вскрытое тело. Так смотрят на добычу, которая ещё не знает, что уже мертва.

— Я говорил, — произнёс он.

Голос был низкий, влажный, почти интимный. Но под бархатом угадывался хребет стального клинка, и от этого сочетания у меня перехватило дыхание.

— До пыточной — ничего.

Его пальцы сомкнулись на моём запястье. Не больно. Но точно. Как браслет кандалов, отлитый по мерке. Большой палец двинулся по внутренней стороне ладони — медленно, невыносимо медленно, — нашёл пульс и задержался на нём, считывая мой страх напрямую из крови. По позвоночнику хлынули мурашки. Ледяная вода, пущенная вдоль нервов.

Я застыла. Не от страха. От унижения.

Я думала, что застала его врасплох. Думала, что он мой, что на этот раз я веду. А он наблюдал из-под ресниц. Позволял мне играть в охотницу. Скармливал иллюзию контроля, как отравленное лакомство. И я глотала, не чувствуя яда.

Пальцы невольно сжались. Дыхание споткнулось. Горло стянуло сухим жаром. Он смотрел на меня. Ноздри едва заметно раздувались. Кадык дрогнул, когда он сглотнул. Он тоже хотел. Но его контроль был сильнее желания.

— Но… — начала я.

Язык непроизвольно скользнул по пересохшим губам. Слово повисло в воздухе, жалкое, беспомощное. Он перебил. Голос не стал громче. Он стал тоньше. Как лезвие, которое проворачивают в ране.

— За своеволие тебе будет больнее. Физически. Я не хотел делать этого сегодня. Но ты решила за меня.

Его глаза не мигали. Держали меня, как пришпиленную бабочку. Я чувствовала себя ею: трепыхающейся, бесполезной, красивой только в своей агонии. Он передёрнул плечами. Скучающий жест палача, разминающего шею перед работой. Взгляд на секунду скользнул к окну, где за стеклом копился серый дневной свет — мутный, как мыльная вода. Пальцы на моём запястье сжались чуть сильнее. Не до боли. До понимания. Он держал не мою руку. Он держал поводок. И оба мы знали: я не рванусь.

— Делать что? — спросила я.

Голос прозвучал ровнее, чем я ожидала. Я подняла подбородок и посмотрела прямо — без страха. С интересом. Острым, как укол в подушечку пальца.

Усмешка разрезала его лицо. Обнажила зубы на долю секунды. Как у зверя, показывающего клыки не для нападения — для предупреждения. Веселья в ней не было. Только обещание.

— Скоро узнаешь, — сказал он. — А пока не буду портить сюрприз.

В груди сжался тугой узел. Не обида. Осознание. Он был прав. Я хотела сорвать плод, не дождавшись, пока он нальётся ядом. И не поняла, что самое невыносимое удовольствие рождается не из порыва — из ожидания. Правила устанавливает не тот, кто хватает первым. А тот, кто знает цену паузе.

В этом унижении было что-то странное. Не горечь. Смирение. Не слабость. Понимание. Он учил меня терпению. И я, кажется, начинала учиться.

— Прости, — выдохнула я.

И опустила взгляд. Не в покорности. В признании, что он ведёт эту игру лучше. Пальцы вцепились в край простыни, скручивая ткань.

Он отпустил запястье. Кровь хлынула обратно — горячая, пульсирующая. Я не успела вдохнуть. Его рука уже сомкнулась на моём подбородке, запрокидывая голову. Большой палец лёг на нижнюю губу, надавил, оттянул, обнажая влажную изнанку.

— Ты хочешь меня, — произнёс он тихо.

Слова стали почти тактильными. Губы у самого уха. Дыхание тёплое и влажное на коже.

— Это хорошо. Я хочу, чтобы ты хотела. Но запомни: только я решаю — что, как и когда. Когда мне понадобится твоя инициатива, ты узнаешь об этом первой.

Голос упал ещё ниже. До вибрации, которую я ощущала не ушами — рёбрами. Пальцы скользнули по подбородку вверх, приподнимая лицо. Я искала в его глазах хоть тень чувства. И не находила. Строгость ушла. Но тепло не пришло. Осталось нечто хуже — абсолютное, отполированное равнодушие. Глаза как два зеркала, в которых отражалась только я сама: растрёпанная, раскрасневшаяся, с расширенными зрачками. Он смотрел на меня и видел механизм, работающий именно так, как он рассчитал.

— Сегодня в пыточной ты получишь то, к чему стремишься, — добавил он буднично, деловым голосом, будто обсуждая распорядок дня. — Но до тех пор — помни: я держу слово. И ты научишься держать своё.

Я медленно кивнула. Внутри бушевало всё разом: желание, нетерпение, жгучая досада. Но поверх, как масляная плёнка на воде, растекалось что-то новое. Уважение к его силе. К

его выдержке. К тому бесчеловечному мастерству, с которым он превращал даже моё желание в инструмент собственной власти. Он не подавлял. Он настраивал. Как музыкальный инструмент. Как оружие.

— Хорошо, — произнесла я. — Я подожду.

Уголок его рта дрогнул. Глаза не изменились. Яркие, как зимний рассвет. Это не было улыбкой. Это была квитанция. Подтверждение, что товар принят, условия согласованы.

— Умница.

Наклонившись, он коснулся губами моего лба. Одно мгновение. Сухое, невесомое прикосновение. От него по коже разлился жар, непропорциональный причине. Как печать на договоре, который я подписала, не прочитав мелкий шрифт.

Игра только начиналась.

Диамант соскочил с постели одним текучим движением. Как зверь, распрямляющий тело после долгой неподвижности. Мускулы перекатились под кожей, позвоночник выпрямился — и вот он уже стоял, а простыни ещё хранили вмятину его тела. Остывающее тепло.

Не оглянувшись, он направился к ванной. Дверь закрылась с тихим щелчком. Точным, как выстрел из бесшумного оружия. Точка в предложении, которое он не собирался заканчивать.

В ту же секунду в комнату скользнули слуги. Бесшумные, как тени на дне колодца. Двое в тёмных ливреях. Лица стёртые, безликие, глаза опущены. Подносы с завтраком: хлеб с горячей хрустящей корочкой, от которого шёл пар, пахнущий дрожжами и маслом; ломтики сыра, янтарные, полупрозрачные; фрукты, ещё влажные от росы, с приторно-сладким ароматом; графин с напитком цвета тёмного мёда. Они накрыли на круглом столике у окна — там, где свет лежал на скатерти выцветшим пятном, — и исчезли. Ни шороха. Ни взгляда. Марионетки, чьи нити натянуты до звона.

Я осталась одна. Села на край постели, обхватила колени. Кожа чувствовала остывающую ткань простыни — шёлк, нагретый двумя телами, теперь теряющий тепло с каждой секундой.

Комната дышала порядком. Ни одной лишней вещи. Ни одного случайного штриха. Даже воздух казался процеженным: лишённым пыли, лишённым жизни. Безупречность, от которой сводило зубы. Как витрина. Как хирургическая палата. Как сам Диамант — идеальная оболочка, за которой невозможно угадать, есть ли вообще что-то живое.

Его вчерашние слова всплыли из памяти, как всплывает тело утопленника:

«Не становись слишком покорной. Иначе очень быстро мне надоешь».

Пальцы сжались на краю постели. Внутри что-то дрожало. Восхищение? Досада? Жажда? Я не могла разобрать. И это бесило больше всего. Взгляд метнулся к двери ванной. За ней — шум воды. И мне хотелось распороть его равнодушие, как ткань. Добраться до изнанки. Увидеть, что там: живая кожа или ещё один слой брони. На языке — привкус собственной злости. Кислый. Металлический.

Дверь ванной открылась. И комната изменилась. Так меняется пространство, когда в него входит хищник.

Он вышел, не потрудившись накинуть даже полотенце. Вода ещё блестела на коже — капли стекали по груди, по животу. Мокрые волосы облепили плечи, лицо раскраснелось от пара, губы стали ярче, и во всём его облике было что-то вызывающе-откровенное, почти непристойное. Он не прятался. Он демонстрировал.

— Нравится вид? — спросил он, перехватив мой взгляд.

Голос ленивый, с лёгкой хрипотцой. Уголок рта дрогнул в усмешке, когда он заметил, как я сглотнула.

— Завтрак подан, — ответила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

Не получилось. Взгляд предательски скользнул ниже. Я почувствовала, как вспыхнули щёки, и от этого разозлилась ещё сильнее.

— Ты бы хоть штаны надел, — добавила я с вызовом. — Или это часть утреннего этикета? Ходить голым и изображать из себя экспонат?

Он усмехнулся. Медленно, с расстановкой, прошёлся к столу, даже не подумав прикрыться. Каждое движение было плавным, тягучим, как у зверя, знающего, что на него смотрят.

— А тебя это смущает? — спросил он, садясь напротив. Он откинулся на спинку стула, раскинув ноги, и смотрел на меня с тем самым выражением, от которого воздух густел. — Или, может, наоборот? Ты ведь пялилась, Сильвана. Я видел.

— Я не пялилась, — отрезала я.

— Врёшь.

— Может, ты просто слишком много о себе воображаешь?

Он рассмеялся — низко, коротко, с искренним удовольствием.

— Я не воображаю, — произнёс он. — Я констатирую. Ты смотришь на меня так, будто мысленно уже лижешь. Хочешь, скажу, где именно?

Жар хлынул к щекам. Я сжала бокал с водой и сделала глоток, чтобы выиграть паузу.

— Ты невыносим.

— Зато честен, — парировал он. — В отличие от тебя. Ты же не можешь отвести взгляд. И знаешь, что самое забавное?

— Что?

— Тебе и не хочется.

Он был прав. И это бесило больше всего.

Он всё-таки надел штаны. Не потому, что я попросила. А потому, что сам так решил. Узкие, кожаные, чёрные. Они облепили его бёдра так, что я снова поймала себя на том, что смотрю. Кожа скрипнула, когда он сел обратно.

— Лучше? — спросил он с лёгкой насмешкой, перехватив мой взгляд на уровне пояса.

— Немного, — ответила я, стараясь сохранить невозмутимость.

— «Немного», — повторил он, растягивая слово. — То есть тебя всё ещё что-то отвлекает?

— Меня отвлекает, что ты ведёшь себя так, будто завтрак — это прелюдия.

— А разве нет?

Он налил себе абсента. Зелёная жидкость плескалась в хрустальном бокале, густая, ядовитая, как расплавленный изумруд. Он поднёс его к губам, но пить не спешил. Смотрел на меня поверх стекла.

— Каждый разговор с тобой — прелюдия, — произнёс он. — Каждый взгляд. Каждое слово. Особенно когда ты сидишь с таким лицом, будто я уже трахнул тебя прямо за этим столом.

Я подалась вперёд, опираясь локтями о столешницу.

— У тебя богатая фантазия.

— У тебя тоже, — он усмехнулся. — Иначе ты бы не ёрзала.

Я замерла. Потому что, чёрт возьми, я действительно ёрзала. Бёдра сжались под столом, и я надеялась, что он этого не видит. Но он, разумеется, видел.

— Знаешь, что я думаю? — спросил он, делая наконец глоток.

— Просвети.

— Ты злишься не потому, что я вышел голый. Ты злишься, потому что я вышел голый — и не трахнул тебя. Хотя ты этого ждала. Хотя ты этого хотела. И продолжаешь хотеть.

Он поставил бокал на стол. Медленно, с точностью, от которой у меня пересохло во рту.

— Я прав?

Я не ответила. Смотрела на него, пытаясь придумать достойный ответ, но в голове было пусто. Только жар. Только пульс, отдающийся в висках.

Он наклонился чуть вперёд. Голос опустился до шёпота, интимного, почти ласкового.

— Можешь не отвечать. Я и так знаю. Я видел, как ты прижималась ко мне утром. Как тёрлась. Как дышала. Ты была мокрая ещё до того, как я открыл глаза.

Меня пронзило током. Стыд и возбуждение смешались в один жгучий ком, разлившийся по всему телу.

— И что? — выдохнула я с вызовом, хотя голос дрогнул. — Ты хочешь, чтобы я извинилась за то, что хочу тебя?

— Нет. Я хочу, чтобы ты признала это.

— Я хочу тебя, — сказала я прямо. — Прямо сейчас. Прямо здесь. На этом столе. На полу. Где угодно.

Глаза его сверкнули. Он медленно выдохнул, не сводя с меня взгляда.

— Умница, — повторил он, и в этот раз слово прозвучало иначе: ниже, темнее, с оттенком голода. — Но сегодня ты получишь это не так, как хочешь. А так, как решу я.

Он откинулся на спинку стула и улыбнулся. В этой улыбке не было ни капли нежности. Только власть. Только предвкушение.

Завтрак заканчивался. Я пила воду, чтобы остудить горло. Диамант допивал абсент, и зелёные разводы на стенках бокала блестели как раздавленные глаза.

— Знаешь, что меня в тебе заводит? — внезапно спросил он.

Я подняла взгляд.

— Что?

— Твоя злость, — ответил он просто. — Когда ты злишься, ты перестаёшь прятаться. Становишься настоящей. Такой, как сейчас: с горящими щеками, с расширенными зрачками, с пальцами, которые вцепились в скатерть, будто ты сейчас сорвёшься.

Я посмотрела на свои руки. Пальцы действительно побелели на ткани.

— И что же ты собираешься с этим делать?

— Пока — ничего, — произнёс он. — Но поверь, когда придёт время, я вытащу из тебя эту злость. Всю. До капли. И заменю её тем, от чего ты будешь кричать моё имя.

По позвоночнику пробежала дрожь. Я не знала, чего в ней было больше: страха или предвкушения.

— Ты так уверен.

— Я всегда уверен, — ответил он. — И именно поэтому ты здесь.

Диамант отложил салфетку. Поднялся медленно, разворачивая тело, как хищник, потягивающийся после сна. Затем взял со спинки стула шёлковую рубашку, накинул на плечи. Пуговицы застёгивал неторопливо, одну за другой, не отрывая от меня взгляда. Каждый щелчок падал в тишину, как удар сердца. Как отсчёт.

Потом он повернулся ко мне резко, всем телом. И в этом повороте было что-то от волка, учуявшего кровь.

— Идём, — произнёс он.

Я вложила ладонь в его руку. Пальцы сомкнулись крепко, уверенно. Без зазора. Без возможности побега. Кожа холодная, как мрамор. И в этом пожатии было всё: власть, голод, обещание. Вызов, на который я ответила «да», даже не раскрыв рта.

Игра продолжалась. Ставки только что выросли.

3

Он направился к двери первым. Шаг мерный, точный, как ход метронома. Ни тени волнения. Будто направлялся не в пыточную, а в библиотеку.

— Игра начнётся, как только мы переступим порог, — произнёс он, не оборачиваясь. — Я остановлюсь только тогда, когда пойму сам, что ты сломалась. Не когда ты попросишь. Не когда будешь умолять. Когда я решу. Запомни.

Тишина проглотила его слова и не вернула. Они остались висеть в воздухе, тяжёлые и окончательные, как надгробные плиты. Не угроза. Диагноз.

Я сглотнула. Во рту было сухо. Язык коснулся нёба, и я ощутила привкус меди — собственный страх на вкус. Но кивнула твёрдо. Почти дерзко.

— Я поняла.

Он улыбнулся едва, одним уголком рта. Без тепла и света. В этой улыбке не было жестокости. Только предвкушающая точность мастера, чьи пальцы уже чувствуют, где пройдёт первый надрез.

— Хорошо.

Винтовая лестница уходила вниз, закручиваясь в себя, как раковина вымершего моллюска. Ступени тёмного камня, отполированного до маслянистого блеска. Веками по ним спускались чужие ноги, и мне казалось, я чувствую их ступнями: тысячи подошв, впечатавших в камень свою покорность, свой ужас, своё молчание. Поверхность гладкая и холодная, как кожа мертвеца.

С каждой ступенью воздух менялся. Тепло верхних комнат уходило, как кровь из раны. На смену ему поднимался холод — влажный, тяжёлый, забирающийся под ткань платья, оседающий на ключицах, стягивающий соски в твёрдые узелки. Факелы вдоль стен горели неровно. Их свет отбрасывал на сырой камень тени, которые двигались сами по себе: извивались, сплетались, будто что-то живое пряталось в щелях кладки. Пахло сыростью. Старым железом. И тонко, на самом дне вдоха, — ладаном. Сладковатым, ритуальным. Будто здесь не мучили, а совершали таинство. Будто боль была формой молитвы.

Я шла за ним, и под кожей нарастало нечто, чему я не могла дать имени. Не страх. Хотя он был — на дне, тёплый и живой, как угли под золой. Не восторг. Хотя и он пульсировал где-то в рёбрах. Что-то третье. Голод. Тёмный, первобытный, влажный голод узнать, как далеко он готов зайти. И как далеко готова зайти я.

Мысль «*Что я делаю*?» вспыхнула и сгорела, не оставив даже пепла.

Дверь кованого железа с тяжёлым засовом и заклёпками размером с кулак выглядела так, будто за ней держат не людей, а что-то, чему нельзя давать имени. Диамант толкнул её одной рукой. Небрежно, как калитку в сад. Петли отозвались долгим, протяжным, почти чувственным стоном. Словно сама комната выдохнула, узнав хозяина. Раскрылась перед ним привычно и покорно, как женщина, давно забывшая, что значит отказывать.

Я переступила порог. И замерла.

Память ударила не волной. Хлёстко, как кожаный ремень по мокрой коже. Вспышка: я здесь же. Дрожащая, вцепившаяся в лохмотья собственной одежды, не понимающая, куда попала. Запах железа и чужого пота. Холод каменного пола под босыми ступнями. И его глаза — пустые, оценивающие, безразличные. Как глаза ювелира, разглядывающего камень, который может оказаться и алмазом, и стекляшкой.

Я вспомнила его лицо в тот день. Как он стоял в дверях. Как смотрел на меня. В этом взгляде не было злости. Только любопытство. Теперь я понимала: он уже тогда видел. Знал, что я вернусь. Тогда я была для него вещью. Любопытной, но не более.

Пыточная раскрывалась передо мной, как тело любовника. Бесстыдно, во всей своей мрачной, извращённой красоте.

В центре — кресло. Бархат цвета запёкшейся крови. Высокая спинка. Резные подлокотники, отполированные до лоска. Трон, возведённый не для власти, а для боли. Рядом — дыба. Я вздрогнула, но усилием воли подавила страх.

У стены — колесо. В свой первый визит сюда я его не видела. Ржавое, массивное, с шипами, похожими на клыки. Древнее чудовище, которое ещё помнит, каково это — пить. Цепи свисали с потолка. Сквозняк покачивал их, и они тихо, мерно позвякивали. Металлический шёпот, в котором каждое звено помнило имя того, кого держало.

На полках — инструменты. Плети с длинными кожаными хвостами, жёсткими от высохшей крови. Кнуты с металлическими наконечниками, похожими на застывшие капли ртути.

Ножи тонкие, хирургические, с лезвиями, ловящими свет факелов. Щипцы. Иглы. Зажимы с мягкими кожаными прокладками и без них. Всё разложено с хирургической аккуратностью. Методично. Любовно. Как в мастерской художника, для которого чужая плоть — холст.

Любой нормальный человек содрогнулся бы. Я — нет.

Ревность пришла без предупреждения. Острая, как укол. Сколько женщин стояли здесь до меня? Скольких он касался так же? Мысль обожгла, и я спросила, не успев остановиться. Ровным, почти скучающим голосом, под которым горел ожог:

— Сколько их было, Диамант? Женщин. Таких, как я. Тех, кто пришёл сюда сам. Кто хотел этого.

Он шевельнул плечом. Лениво, почти брезгливо. Посмотрел с той снисходительной усталостью, с какой кот смотрит на мышь, которая вместо того чтобы бежать, задаёт вопросы.

— Много, — ответил он. — Я говорил: с семнадцати лет я перестал считать. Лица стираются. Имена — тем более. Остаётся только… то, как они звучали.

Его пальцы прошлись по спинке кресла. Медленно, как по чужому позвоночнику. В груди что-то сжалось. Коротко и больно, как укол иглой между рёбер. Но я не согнулась. Выпрямилась. Расправила плечи.

Он не делал из меня исключения. И от этого становилось легче, а не тяжелее. Правила обнажились. Игра стала честной.

Я обвела комнату взглядом. Как посетитель музея, добравшийся до запретного крыла. Провела пальцами по звеньям ближайшей цепи. Холодный металл обжёг подушечки. Я не отдёрнула руку. Коснулась рукояти плети. Кожа мягкая, разношенная, тёплая от чужих ладоней. От этого прикосновения по предплечью побежали мурашки.

И я поняла. Это место больше не пугало меня. Оно не утратило зловещей тяжести. Просто я стала другой. Там, где раньше зияла пропасть ужаса, теперь горело что-то иное. Тёмное. Влажное. Голодное.

В каждой цепи я видела не оковы — объятие. В каждом лезвии не рану — откровение. В каждом инструменте не угрозу — обещание дойти до самого края себя и заглянуть за него.

Мой взгляд вернулся к нему. Диамант стоял у кресла, скрестив руки на груди. Свет факела высекал из его лица резкие, рублёные тени: скулы, линию челюсти, глаза. Он наблюдал за мной. Не с торжеством. Не с жестокостью. С сосредоточенностью, тотальной, поглощающей. Так смотрит хирург на вскрытую грудную клетку. Так смотрит художник на чистый холст за секунду до первого мазка.

Он читал меня. Каждый жест, каждый вздох, каждую тень на лице. Не как женщину. Как текст на незнакомом языке, который намеревался выучить за одну ночь. И в этом было что-то более интимное, чем любое прикосновение. Его взгляд раздевал не тело — душу. Снимал слой за слоем, добираясь до того, что я сама о себе не знала.

— Ты не боишься, — произнёс он. Не вопрос. Констатация.

— Нет, — ответила я. Тихо, но твёрдо.

В груди билось что-то дикое. Не страх — его изнанка, сплетённая с предвкушением так туго, что не разорвать. Возбуждение шло по телу волнами, обжигало нервные окончания, заставляло пальцы подрагивать. Я была добычей и охотницей одновременно. И я знала: он сильнее, опытнее. Он написал правила задолго до того, как я переступила порог. Но в этом и была суть. Не победить. Прочувствовать. Дойти до края. Заглянуть за него. И узнать, что смотрит оттуда в ответ.

— Хорошо, — сказал Диамант. В голосе мелькнуло что-то похожее на одобрение. Тонкое, как трещина во льду. — Страх испортит всё. А я не люблю, когда кто-то портит игру.

Он сделал шаг ко мне. Не быстро. Не угрожающе. Плавно, как зверь, который уже загнал добычу и может позволить себе роскошь неторопливости. Каждое движение — контроль. Каж-

дый вдох — расчёт. Он смаковал предвкушение, как другие смакуют первый глоток вина, стоившего целое состояние.

Я закрыла глаза. Впустила в себя его голос, его близость, тяжёлый запах кожи и металла, смешанный с горьковатым ладаном. Когда я подняла веки, в моих глазах не осталось ничего лишнего. Ни сомнения. Ни стыда.

Он улыбнулся шире. Почти искренне, если бы он был способен на искренность. В этой улыбке не было доброты. Только интерес. Острый, голодный, как свежезаточенное лезвие.

— Тогда начнём.

Тишина сгустилась. Факелы дрожали. Тени на стенах — рваные, изломанные, как силуэты танцоров, сошедших с ума. Воздух плотный, вязкий, как расплавленная смола.

— Раздевайся.

Не просил. Не предлагал. Приказывал. Голос ровный, лишённый интонации. Как у человека, велящего слуге подать плащ. Он уже отошёл к дальней стене, где на кованых крюках висели инструменты. Перебирал их с неторопливой сосредоточенностью коллекционера, касаясь каждого кончиками пальцев. Почти нежно. Но нежность эта была противоестественной, извращённой. Как ласка, адресованная клинку за мгновение до удара.

Я замерла. В груди колотилось горячо и неуправляемо. Не страх — его тень, сращённая с предвкушением, пульсирующая в такт ударам сердца. Возбуждение прошивало тело насквозь, заставляло кожу покалывать тысячами невидимых игл.

Я знала: сейчас я переступлю черту. Не к прежнему страху. Не к прежней себе. Обратного пути не будет.

«*Это не унижение,* — подумала я. — *Это сделка. Я отдаю тело, а он даёт мне то, чего не получить иначе. То, что разрывает изнутри. То, что заставляет жить по-настоящему*».

Я начала раздеваться. Пальцы легли на верхнюю пуговицу. Та поддалась неохотно, цепляясь за петлю, будто ткань помнила мои прежние страхи и пыталась удержать. Вторая. Третья. Платье раскрылось, как рана.

Ткань скользнула по плечам, по рёбрам, по бёдрам, оставляя за собой след обжигающей прохлады, который тут же сменялся жаром. Глубоким, нутряным. Не имеющим ничего общего с огнём факелов. Другой огонь. Тёмный, первобытный. Извращённое удовольствие, которое я не могла и не хотела отрицать. Оно растекалось по венам, как расплавленное серебро.

Платье опало к ногам. За ним — бельё. Тонкая ткань соскользнула с бёдер и легла у ступней, как сброшенная кожа. Я сложила вещи аккуратной стопкой. Ровно. Торжественно. Как погребальный саван прежней себя.

Обнажённая кожа встретила подвальный холод и покрылась мурашками. Я ощущала каждый сквозняк, каждое дуновение, каждый взгляд факельного пламени на своём теле. Воздух касался меня везде. Как чужие руки.

Краем глаза я видела: Диамант снял со стены кнут. Не ту простую плеть, которой хлестал в первый раз. Тяжелее, массивнее, с металлическим наконечником, тускло мерцающим в неровном свете, как глаз зверя в ночном лесу. Металл казался живым. Холодным, чуждым, почти разумным в своей беспощадности. Он не отражал свет — впитывал его, чтобы потом отдать в виде боли.

Он взмахнул кнутом коротко, пробно. Сухой щелчок рассек тишину, как выстрел. По моей спине прокатилась волна дрожи. Не от ужаса. От предвкушения. Волоски на руках встали дыбом. Кожа натянулась. Дыхание стало рваным.

Это будет больно. И мне было интересно, где проходит та грань, за которой боль перестаёт быть инструментом и становится чем-то большим. Откровением. Ключом. Тем, что заставит меня кричать не от боли, а от освобождения.

Не глядя на меня, он объявил:

— Тридцать ударов. До крови.

Пауза. Тяжёлая, бездонная. В ней было больше угрозы, чем в любом крике.

— А когда она появится… я окуну кнут в солевой раствор.

Мои пальцы сжались в кулаки. Тело окаменело. Не от желания бежать. От нетерпения. Кровь стучала в висках, в горле, между рёбрами. Каждый нерв обострён до предела. Я была оголённым проводом, готовым взорваться искрами от единственного прикосновения.

«*Ты хочешь проверить меня? Посмотрим, кто из нас выдержит дольше. Кто сломается первым. Или — кто из нас сломается, чтобы собраться заново*».

Он подошёл ближе. Кнут в его руке жил: извивался, покачивался, как змея, почуявшая тепло добычи.

— Ты дрожишь, — заметил он. Голос низкий, густой, почти шёпот. Но в нём — сталь.

— Да, — выдохнула я. — Но не от страха. Я дрожу, потому что хочу этого. Каждой клеткой.

Он замер на мгновение. Потом коротко усмехнулся. Усмешка часовщика, который услышал, как в собранном механизме впервые тикнуло сердце.

— Хорошо, — произнёс он. — Проверим, надолго ли хватит этой жажды.

Он сгрёб мои волосы в кулак. Одним резким движением, у самых корней. Не до боли — до власти. Притянул к себе. Я почувствовала жар его тела, запах кожи, железа и чего-то горького, опасного.

И он поцеловал меня. Грубо. Жёстко. Почти яростно. Это был не поцелуй. Утверждение права. Его губы на моих — печать, обещание всего, что начнётся сейчас. Никакой нежности. Только точность, жёсткая, безупречная. Его язык прошёл по моей нижней губе. Медленно и властно. Я ощутила привкус металла. То ли от кнута, которого он только что касался. То ли от его воли, проникающей в меня, заполняющей рот, горло, лёгкие.

Он отстранился. Я тяжело дышала. Губы горели. В моих глазах не было мольбы. Только вызов и едва уловимое торжество. Опасное, как тлеющий фитиль. В каждом миллиметре обнажённой кожи, в каждом вздохе, в каждой капле пота читалось:

«*Ты думаешь, что контролируешь? Но ты не видишь, как сильно я этого хочу. Как я жажду этой боли. Этой власти. Этой истины, которая раскрывается только через жертву*».

Он наклонился к моему уху. Так близко, что губы касались мочки. Дыхание горячее, обжигающее кожу.

— Если не закричишь, возможно, в середине дам передышку.

Я кивнула. Слова были не нужны. Всё уже сказано: не языком, а кожей к коже. Рваным дыханием. Биением крови в висках.

Наши сердца стучали в унисон. Тяжело, гулко, как древний барабан, созывающий на жертвоприношение. И я знала, кто здесь жрец, а кто жертва, идущая к алтарю добровольно.

С сухими глазами. И мокрыми бёдрами.

Он отступил на шаг. Одним резким движением содрал с себя рубашку. Ткань шуршала, как сброшенная кожа. Мышцы на его плечах перекатывались — тугие, литые, живущие собственной хищной жизнью. Тени от свечей ложились в ложбины между ними, превращая тело в ландшафт: горы и ущелья, отлитые из мрамора.

Лицо сосредоточенное, почти отрешённое. Маска, за которой я чувствовала бурю. Зрачки потемнели съев радужку почти целиком.

Он не наслаждался моей беспомощностью. Он работал. Как палач, влюблённый не в жертву, а в топор.

Он подошёл к дыбе отполированной чужими ладонями. Впитавшей столько стонов, что она сама гудела, как намоленная икона. Только молились здесь иначе. Жестом указал встать под перекладину. Ни слова. Слова были бы пошлостью.

Я подчинилась. Не из страха. Из жажды, которая жгла низ живота и превращала колени в воду.

Его пальцы обхватили моё запястье. Сухие, горячие, твёрдые. Он поднял мою руку медленно, почти нежно. Словно приглашал на танец. Железное кольцо сомкнулось. Холодное. От контраста с его теплом я вздрогнула. Потом — второе запястье. Не слишком туго. Но достаточно, чтобы мир сузился до размеров цепи. Короткой, как выдох перед криком.

Я дёрнулась непроизвольно, проверяя. Цепи звякнули коротко и сухо. Этот звук вошёл в тишину подвала, как последний гвоздь в крышку гроба. Не моего гроба. Гроба той, кем я была до этой комнаты. До его рук. До запаха разогретого железа и горящего воска. До этой сладкой, невыносимой растянутости между страхом и желанием.

— Готова? — спросил он.

Но это был не вопрос. Фиксация момента. Так нотариус ставит печать. Так палач показывает лезвие. Голос ровный. И только по тому, как он сглотнул, кадык дёрнулся вверх-вниз, я поняла: он тоже горит. Просто его огонь внутри, под замком, под слоями контроля, которые мне предстояло расплавить собой.

— Да, — ответила я. Твёрдо. Как клятва. — Я готова.

И тишина после этих слов была громче любого крика.

4

Диамант отступил на несколько шагов. Кнут развернулся в его руке, металлический наконечник тихо запел, ударяясь о рукоятку: дзинь… дзинь… дзинь… Монотонный, почти колыбельный звон. Но от этой колыбельной по хребту ползла ледяная дрожь. В ней слышалось что-то древнее, довременное. Эхо обрядов, в которых кровь была молитвой, а крик — псалмом.

Факелы дрожали, точно вздыхали. Тени на стенах оживали, текли, переплетались, как чёрные змеи в период гона. Сплетались в узоры, которые не хотелось разгадывать.

Это была не пыточная. Святилище. Тёмное, извращённое святилище, где грех возводился в таинство.

Я слышала биение собственного сердца. То самое, что бывает за секунду перед прыжком в бездну.

Сейчас.

И закрыла глаза.

Веки сомкнулись. Мир сузился до ощущений. В ушах — гул собственной крови. Кожа покрылась мурашками. Каждая пора раскрылась. Каждый волосок встал дыбом. Тело ждало и жаждало. Ему было всё равно — ласка или удар. Лишь бы прикосновение. Лишь бы не это мучительное, сводящее с ума ожидание.

Первый удар вспорол тишину.

Мир сузился до полосы огня. Кнут полоснул по спине резко, хлёстко, с коротким влажным щелчком, от которого перехватило дыхание. Тело оцепенело. На долю секунды — ничего. Пустота. А потом кожу обожгло раскалённой полосой. От лопатки до ребра. Словно кто-то вдавил в живую плоть раскалённое клеймо.

Я закусила губу. Зубы прорвали тонкую кожу. Рот наполнился солоноватым, медным привкусом крови.

Жар разлился по спине. Сначала вязкий, глухой, как расплавленная смола. Потом всё острее, всё злее, пока не стал электрическим, пронзающим до позвоночника, до самого нутра. Боль не парализовала. Она будила. Что-то шевельнулось внутри — глубоко, в том месте, куда я не заглядывала годами. Что-то голодное. Что-то, у чего есть зубы.

Второй удар. Чуть ниже, по пояснице. Позвонки отозвались гулом. Кожа вспыхнула. Третий — по плечу. Плоть ныла, пульсировала, будто под кожей билось второе сердце.

Каждый удар оставлял огненную линию. Будто его рука выжигала на моём теле руны. Древние, забытые. Несущие знание, которое нельзя произнести вслух. Можно лишь выстрадать.

Но вместе с болью приходило странное, почти непристойное ощущение чистоты. С каждым ударом что-то сгорало. Сомнения. Страхи. Маски. Ложь, которую я годами говорила себе. Боль была не наказанием. Огнём. В нём плавилась прежняя я — слабая, трусливая, спрятавшаяся за улыбками. И из этого огня поднималось что-то иное. Безымянное. Свободное.

Я считала. Не чтобы отвлечься. Чтобы присвоить каждое мгновение. Впечатать его в память, в мышцы, в кости.

Четвёртый. Пятый. Удары ложились ровно, как такты метронома. Задавали ритм этому мрачному танцу, в котором он вёл, а я сгорала.

На шестом появилась кровь. Я почувствовала её не как боль — как тепло. Будто что-то живое вырвалось наружу. И это странно успокаивало. Тонкая струйка поползла по рёбрам. Тёплая, вязкая, живая. Словно отдельное существо, исследующее моё тело.

Я почувствовала её не сразу. Только когда капля соскользнула по боку, задержалась у бедра и упала на каменный пол с коротким, влажным, почти интимным звуком.

И в этот миг я поняла. Самое страшное — не следующий удар. А если он остановится. Если сейчас, когда я уже перешагнула через себя, он скажет «Хватит». И мне придётся возвращаться туда, где нет этой боли. Нет его. Где я снова стану прежней — и не смогу ею быть.

Это был не абстрактный страх. Не страх того, что будет. Здесь. Сейчас. Осязаемая, пульсирующая в такт сердцу, горячая, честная, настоящая. Как ничто в моей жизни прежде.

Диамант заметил первым.

Не говоря ни слова, он повернулся и шагнул к ведру в углу. Деревянному, обитому позеленевшей медью. Наполненному солёной водой. Я услышала, как кнут погрузился в неё с мягким, утробным плеском. Когда он извлёк его обратно, металлический наконечник тускло блестел в свете факелов. Влажный. Потяжелевший. Капли стекали с острия и падали на пол, оставляя тёмные пятна. Следы. Письмена. Приговор.

Повернув голову я увидела, как вода стекает с кнута, и подумала: он хочет, чтобы я почувствовала всё до конца. Чтобы не осталось ни одной клетки, которая не узнала бы этой боли. И я была благодарна.

Он занял позицию. Развернул плечи. Кнут повис вдоль его тела, как хвост скорпиона перед ударом.

— Теперь будет острее, — произнёс он. Низкий, хриплый голос. Как наждак по обнажённому нерву. В нём звучала не угроза. Удовольствие. Почти звериное. Почти нежное.

Следующий удар вышиб из лёгких весь воздух. Соль вгрызлась в раны мгновенно. Безжалостно. Как кислота. Как расплавленное стекло, залитое в живую плоть. Мир побелел. На долю секунды я ослепла от боли.

Но крика не было. Вместо него с губ сорвался стон. Низкий, глубокий, долгий. Такой, от которого у мужчин темнеет взгляд. Не стон боли. Стон узнавания. Словно моё тело знало это ощущение всегда — и наконец получило его.

Мысль «*Неправильно. Так не должно быть. Это…*» не успела оформиться. Следующий удар смыл её, как волна смывает надпись на песке. Осталась только дрожь, пробежавшая по телу от затылка до пяток. И это постыдное, животное наслаждение. Не от боли. От того, что я выдерживаю. Не ломаюсь. Не умоляю. Стою окровавленная, дрожащая, мокрая от пота — и остаюсь собой. Даже здесь. Даже сейчас.

Между бёдер стало горячо и влажно. Так влажно, что я почувствовала, как по внутренней стороне бедра скользит тонкая дорожка. Не кровь. Собственный сок. Тело отзывалось на боль предательски, по-звериному. С той же неумолимостью, с какой рана отзывается на соль. И от этого было стыдно. И от этого же — невыносимо хорошо.

Голова кружилась. Клитор пульсировал, набухший, требовательный. Каждый удар будто шёл не по спине, а по нерву, связывающему его кнут с моим лоном. Боль и возбуждение сплетались в один тугой узел. И он рос, рос, распирая изнутри.

Седьмой. Восьмой. Девятый. Каждый счёт — новый виток спирали. Вверх. Выше. К вершине, у которой нет названия. Где боль и наслаждение сплетаются, как два тела в темноте. Где одно перетекает в другое, и уже невозможно понять, где кончается мука и начинается экстаз.

Я закрыла глаза и позволила себе упасть в это. Боль. Соль. Жар факелов на израненной коже. Его дыхание за спиной — тяжёлое, участившееся, пахнущее абсентом и чем-то тёмным, мускусным, мужским. Всё сливалось в единый поток. В единый гул. В нём не осталось ни прошлого, ни будущего. Только сейчас. Только это.

Запах крови смешался с ладаном. Дурманящая, невозможная смесь, от которой кружилась голова и мутилось сознание. Хотелось то ли плакать, то ли смеяться, то ли раздвинуть ноги. Кожа горела, словно облитая расплавленным воском. Кровь стекала по спине тонкими, тёплыми ручейками. Смешивалась с потом. Оставляла липкие, извилистые дорожки. Там, где она подсыхала, кожа стягивалась. И это стягивание ощущалось как чужие пальцы. Жадные. Бесцеремонные. Собственнические.

Я не чувствовала себя униженной. Я чувствовала себя рождённой. Каждый нерв звенел, как перетянутая струна. Каждое движение воздуха, даже лёгкое, даже случайное, касалось ран и отзывалось волной дрожи. Не от слабости. От восторга. Извращённого. Бесстыдного. Абсолютного. От осознания того, на что я способна. Чего стою. Сколько могу вынести.

Я ловила себя на том, что жду следующего удара не с ужасом — с голодом. С жаждой, от которой пересыхали губы и влажнели бёдра. Будто боль стала мостом. Хрупким, горящим, единственным. Между мной и чем-то огромным, первозданным. Тем, что дремало на самом дне души, свернувшись в тугой клубок. И теперь оно расправляло крылья. Чёрные. Перепончатые. Прекрасные.

Удары сливались в ритм. В пульс. В дыхание.

Тринадцатый. Четырнадцатый.

На пятнадцатом я замерла. Внутри что-то натянулось до предела. Как тетива. Как струна. Как нерв, готовый лопнуть. Не от боли. От чего-то большего. От напряжения, которое копилось удар за ударом и теперь стояло в горле комом. Билось в висках. Жгло низ живота.

В горле пересохло. Перед глазами плясали цветные пятна — красные, как кровь, золотые, как пламя факелов.

Я мысленно умоляла: ещё чуть-чуть… ещё один… Хотя сама не знала, чего именно хочу. Чтобы он остановился или продолжил. Чтобы боль стала ещё острее, ещё глубже. Чтобы она разорвала меня на части — и собрала заново.

И вдруг — тишина. Абсолютная. Оглушительная. Лишь треск факелов и моё прерывистое дыхание нарушали её.

В этой тишине я слышала, как бьётся моё сердце. Сильно. Ритмично. Ликующе.

5

Кнут ударился о камень. Звук гремел, как выстрел. Сухой, резкий, беспощадный.

Моё тело дёрнулось. По мышцам прошла глубокая судорога. Я не упала. Устояла, хотя ноги подрагивали, а в коленях разливалась слабость. Перед глазами всё плыло. В ушах шумело, как от прибоя. Сердце колотилось в горле, в висках, между рёбер.

Кровь стекала по бёдрам тёплыми дорожками, липла к коже. Соль, крупная, грубая, въедалась в каждую ссадину, жгла, как кислота. Каждая рана пульсировала отдельно, в своём ритме. И все вместе сливались в один оглушительный гул боли.

Но это больше не было мучением. Мой выбор. Мой триумф.

Он подошёл. И дал несколько резких пощёчин. Сухих, точных, без замаха. Щёки обожгло. Кожа на лице загорелась. Тепло хлынуло вниз по шее, по ключицам. Не от боли. От осознания, что я всё ещё стою.

— Неплохо держишь себя в руках, — произнёс он. — Для первого раза под кнутом. Даже впечатляюще.

Его взгляд скользнул по свежим рубцам. Задержался на самых глубоких. Вернулся. Голос ровный, сухой, как всегда. Но на дне его промелькнуло что-то новое. Не одобрение. Интерес. Будто он разглядел во мне искру, от которой может заняться пожар.

Он отошёл к стене. Достал из кармана штанов пачку сигарет. Пламя зажигалки на миг осветило его лицо. Дым пополз к потолку.

— Перерыв, — объявил Диамант выпуская дым сквозь зубы. — Пять минут. Потом продолжим.

Я кивнула. Говорить не могла.

Тело дрожало, но не от усталости. От чего-то горячего, пульсирующего внизу живота. Каждое движение, даже простое дыхание, отдавалось тупой, ноющей пульсацией. Я сжала бёдра. И это только усилило жар. Каждая клетка вибрировала, требовала продолжения.

Я знала: это только начало. И хотела дойти до конца. До самого края.

Факелы дрожали в железных кольцах. Кнут лежал на полу. С его кончика медленно капала соль, смешанная с моей кровью. Тёмные пятна расползались по камню. А внутри меня что-то просыпалось. Тёмное. Жадное. Голодное. То, что больше никогда не уснёт.

Диамант докуривал, стоя вполоборота. Не смотрел прямо. Наблюдал краем глаза, как естествоиспытатель следит за веществом, брошенным в кислоту. Ни сочувствия. Ни жестокости. Только холодная сосредоточенность человека, который наконец нашёл то, что искал.

Стряхнув пепел, он спросил:

— Ну? Какие ощущения?

Я подняла голову. Медленно. Губы потрескались. Во рту — привкус меди. По виску ползла холодная, щекочущая капля пота. Я чувствовала себя обнажённой до нутра. Не только телом — каждой мыслью, каждым желанием. Под его взглядом они становились прозрачными, как стекло. Он видел не израненную спину. Суть. Ту, что пряталась годами под коркой приличий, страхов, чужих правил. Тёмную. Дикую. Настоящую. И принимал её.

— Больно, — ответила я.

Хриплый, чужой голос. Будто принадлежал той Сильване, которая ещё не знала, на что способна. Тишина была тяжёлая, свинцовая. В ней умещалось всё: возможность отступить, попросить пощады, сказать «довольно». Но я смотрела ему в глаза. Прямо. Без стыда.

— Но я всё равно хочу тебя, — произнесла я. — Хочу так, что больно уже от этого.

Слова натянулись между нами, как струна.

Диамант замер. На мгновение — короткое, как вспышка, — в его глазах что-то шевельнулось. Не удивление. Не насмешка. Узнавание. Он смотрел на меня не как на жертву. Как на равную. На ту, кто шагнула за черту, которую он сам когда-то переступил, — и не отвела взгляда.

Он сделал последнюю глубокую, долгую затяжку. Раздавил окурок каблуком о камень. Повернулся ко мне. Движение плавное, текучее.

Свет факелов лепил его фигуру: широкие плечи, мышцы, лицо, неподвижное, как маска. Но глаза горели тем огнём, которого раньше не было.

— Обязательно получишь, — произнёс он тихо. Низкий, почти интимный тон. Так говорят, наклонившись к самому уху. — Когда закончим.

Пауза. Короткая, как удар сердца.

— Только это тоже будет больно.

Не угроза. Факт. Как «солнце взойдёт» или «кровь — красная». Но в этой простоте таилась жестокая, обжигающая красота. Признание, что удовольствие и страдание спаяны намертво. Как два тела в объятии.

Я кивнула. Не от страха. От предвкушения. Низ живота сжимался горячо, тесно, сладко. Что-то трепетало в груди, как пойманная бабочка в кулаке. Не рвалось на свободу. Хотело, чтобы сжали сильнее.

Он взял кнут. Металлический наконечник глухо звякнул о камень. Моё тело прошила дрожь. Не ужас. Голод.

— Теперь можешь кричать, — сказал он. — Я разрешаю.

Я не ответила. Только подняла подбородок чуть выше, чем следовало. В этом движении было всё: вызов, согласие, готовность идти до конца. Губы дрожали. Не от слабости. От нетерпения.

Он занял позицию. Кнут взлетел.

Шестнадцатый удар обрушился хлёстко и резко. Раскалённый росчерк поперёк лопаток. Я дёрнулась, но удержала крик в зубах. Боль вспыхнула огненной волной, залила спину, хлынула к плечам, к бёдрам. Острая, белая, почти ослепляющая. Кожа лопнула в нескольких местах. Кровь хлынула сильнее, залила поясницу, смешалась с потом. Я чувствовала, как она стекает по позвоночнику. Как капли срываются с локтей и падают на пол.

Но боль не унижала. Она пробуждала. С каждым ударом сгорало что-то лишнее. Сомнения. Маски. Ложь. Оставалась только я. Голая. Настоящая. Свободная.

Семнадцатый. Восемнадцатый. Девятнадцатый. Каждый глубже. Каждый ближе к чему-то, чему я не знала имени. Кожа горела. Мышцы дрожали. Пот и кровь смешивались на пояснице. Но внутри нарастало иное. Тёмное, жадное, животное влечение. Не имеющее отношения к нежности. Не к нему. К этому. К состоянию на грани, где боль и наслаждение переплетались так тесно, что невозможно было отличить одно от другого. Где стирались границы между «я» и «он». Где рождалось нечто третье. Общее. Страшное. Прекрасное.

Тело вибрировало, как струна перед срывом. Кровь колотилась в висках. Каждый вдох обжигал. Воздух пах солью, железом, дымом. Между ног стало ещё мокрее. Влага тёкла по бёдрам. Мышцы внутри сокращались — пустые, жаждущие наполнения.

Я закрыла глаза. И подставилась всем телом. Всей собой. Ещё удар — и что-то прорвётся. Взорвётся. Освободит то, что было заперто так долго, что я забыла: оно существует.

Сознание раскалывалось надвое. Где-то далеко, за толщей воды, голос кричал: «Хватит!» Но он тонул в свисте кнута. А следом оставалось единственное:

«Ещё».

Двадцатый. Двадцать первый. Каждый удар — ключ, поворачивающийся в замке. Дверь открывалась. За ней — темнота. И я шагнула.

Диамант

1

Я смотрел на её спину с холодным интересом коллекционера, оценивающего, насколько удался экземпляр.

Под исполосованной кожей ходила дрожь. Мышцы сокращались беспорядочно, волнами — от лопаток к пояснице, от поясницы к бёдрам. Нижняя губа, закушенная до крови. Тёмная капля сползла к подбородку и повисла, не падая, будто сама не решалась оборвать этот маленький спектакль.

Воздух был густой, тяжёлый. Пропитанный железистой сладостью крови, горечью пота и чадным дыханием факелов. Каждый звук отпечатывался в памяти: хриплый вздох. Скрип цепи. Влажный стон. И снова тишина — звенящая, почти целомудренная, если не знать, чем мы здесь заняты.

В груди поднималось нечто непривычное. Не просто жажда причинять боль. Это я умел. Это было скучно, как чистить обувь. Азарт. Настоящий, острый, как бритва. Я хотел найти её предел. Свой знал давно. А вот её…

Она выдержит больше, чем кажется.

Двадцать пятый удар. Я заносил руку, и в этом была своя мрачная эстетика. Скульптор, отсекающий лишнее, чтобы явить истинную форму. Только мой материал — не глина и не мрамор. Плоть. Воля. Стон, рвущийся сквозь стиснутые зубы.

Двадцать шестой. Двадцать седьмой. Кожа на спине и ягодицах давно перестала быть целой. Лоскуты, рассечённые кровавыми бороздами, походили на древние руны. Послания, высеченные на живом пергаменте языком, который понимали только мы двое. Кровь стекала по бёдрам, собиралась в ложбинках мышц, капала на каменный пол. Тёмные, почти чёрные кляксы. Как печати. Как подписи под договором, который нельзя расторгнуть.

Капли падали с мерностью метронома. Эхо множило их в пустоте подземелья.

Но она не кричала. Только иногда, редко, на самой границе слышимости, из её груди вырывался звук. Не стон страдания. Что-то иное. Гортанное, низкое, почти утробное. Так звучит тело, впервые осознавшее, что боль — это дверь.

Она проникала глубже кожи, глубже мышц, в самое нутро. И там, в этой раскалённой тьме, рождалось новое существо. Не удовольствие. Триумф. Освобождение от оков, которые сковывали её так долго, что она забыла, каково это — дышать полной грудью.

Двадцать восьмой. Двадцать девятый. Тридцатый.

Я резко опустил плеть. Она ударилась о камень. Звук прокатился по подземелью, как выстрел. Как треск кости. Как последний вздох умирающего мира.

Что-то оборвалось. Последняя нить, связывавшая нас с тем, что было прежде.

Наступила тишина. Только наше дыхание — рваное, хриплое, звериное. И треск факелов, чьи тени метались по стенам, корчась, как живые чёрные змеи. Сплетались и расползались в бесконечном танце.

Я шагнул вперёд. Её спина и ягодицы были сплошной раной. Кровь, загустевшая и тёмная, отливала чернотой в неровном свете, будто впитала в себя всю тьму этого места. Всю его древнюю, голодную злобу. Кожа горела. Мышцы ходили мелкой дрожью.

Но когда она повернула голову, я увидел глаза. Ни слёз. Ни мольбы. Ни тени страха. Только удовлетворение. Глубокое, тёмное, абсолютное. Как у женщины, которую наконец-то трахнули так, как она давно просила, но боялась признаться.

Что-то дрогнуло у меня в груди. Непрошеное. Незваное. Её стоны звучали иначе: не мольба — утверждение. Не «пощади» — «ещё». И в этом было нечто, от чего по хребту прошёл холодок, несмотря на духоту подземелья.

Я подошёл ближе. Поднял руку. Кончики пальцев коснулись её спины — едва ощутимо. Она вздрогнула всем телом. Но не отстранилась. Дыхание участилось. Воздух рвался сквозь приоткрытые губы. Плечи чуть опустились, расслабились. И в этом жесте было больше доверия, чем в любых словах. Она ждала этого прикосновения. Жаждала его, как жаждут воды в пустыне.

Кожа под моими пальцами пульсировала. Горячая, мокрая от крови. Живая. Такая живая, что от этого перехватывало горло.

Что-то в ней изменилось. Не просто выносливость. Суть. Она больше не терпела. Она принимала. Впускала. Растворялась в боли, как соль в кипятке. Без остатка. Без сожаления. И в этом было что-то пугающее и завораживающее. Мы оба переступили черту, за которой начиналась территория без карт. Без правил. Без пути назад.

Так вот оно что.

Холодная усмешка тронула мои губы. Но по спине пробежала предательская, непрошеная дрожь. Я ожидал слёз, мольбы, сломленного взгляда. А получил союзника. Соучастницу в

игре, которую начал как одностороннюю пытку. Она превратила её в ритуал. В танец на лезвии, где один неверный шаг — и бездна поглотит обоих.

Её взгляд — тёмный, влажный, бездонный — нашёл меня. Никакого вызова. Только тихая, почти мистическая уверенность. Так смотрят жрицы, познавшие тайну, которую невозможно произнести вслух. Так смотрят те, кто прошёл через огонь и обнаружил, что не сгорел.

— Ты обещал… что возьмёшь меня, — произнесла она.

Голос, который я не сразу узнал. Низкий, хриплый, чужой. Принадлежащий той, кто сбросила все маски. Содрала с себя стыд и условности, как я содрал кожу с её спины. И предстала в первозданной наготе — не тела, но сути.

— Когда закончишь.

Я замер. На долю секунды. На вечность. В этой паузе сгустилось всё: удивление, тяжесть последних ударов в онемевшей руке, тишина подземелья, наше хриплое, рваное дыхание, треск факелов, далёкий мерный стук капель, падающих с брошенной плети. Даже пламя, казалось, застыло, вытянувшись и замерев. Боясь нарушить этот миг, когда реальность раскололась, как зеркало, и из трещин хлынула тьма.

Внутри меня столкнулись два чувства. Циничное удовлетворение хищника, загнавшего добычу. И азарт — чистый, звенящий азарт исследователя, стоящего на краю открытия, которое перевернёт всё.

Она не жертва. Она соучастница.

Я смотрел на неё. Избитую, окровавленную, дрожащую. И думал о том, что её отец сейчас на корабле молится, чтобы я не причинял вреда его дочери. А её бывший женишок, наверное, стоит у борта и смотрит в море, надеясь, что однажды вернётся и спасёт её. Какая восхитительная ирония. Его невеста стоит передо мной, прикованная к дыбе, с мокрыми бёдрами, и просит продолжить. Если бы он узнал, сдох бы прямо на палубе.

Мои пальцы всё ещё скользили по её спине, по ягодицам. Медленно, невесомо. Обводили контуры ран, как картограф обводит береговые линии неизведанного континента. Каждая отметина — пройденный рубеж. Каждый рубец — буква в алфавите, который мы изобретали прямо сейчас.

Она отзывалась на каждое касание двойной волной. Сначала — острая, белая вспышка боли от рассечённой кожи. Мышцы сжимались. Дыхание обрывалось. И тут же следом, по пятам, — жаркий, тягучий импульс желания. От которого она выгибала спину, подаваясь навстречу моим пальцам. И в груди у неё что-то сжималось — тёмное, ненасытное, требовательное.

В моём жесте не было ни нежности, ни сочувствия. Только холодная, циничная сосредоточенность учёного, чей эксперимент вышел за рамки протокола и оказался бесконечно интереснее замысла. Я понимал: она хотела этого. Осознание ударило под рёбра, как кулак. Кровь вскипела. Не просто терпела — жаждала. И чем глубже я резал, тем шире она раскрывалась. Тем отчаяннее тянулась навстречу. Тем глубже погружалась в бездну, где боль и наслаждение сплавлены намертво. Где одно невозможно без другого. Где граница стёрта, уничтожена, забыта.

Пальцы ощущали пульс её крови. Горячей, бунтующей, как река, прорвавшая плотину. Дикая энергия текла под рассечённой кожей. Первобытная, освобождённая. И мне казалось, что я могу зачерпнуть её ладонями, как воду.

— Я всегда держу слово, — произнёс я почти равнодушно.

Но внутри клубилось нечто тёмное, хищное, древнее.

Да, я возьму её. Но не так, как она думает. Не как награду за стойкость. Как продолжение ритуала. Как следующую ступень нисхождения.

Я шагнул ближе. Моё дыхание коснулось её шеи. Я видел, как по коже пробежала дрожь. Не страха. Ожидания. В воздухе повисло напряжение, как перед грозой, когда молния вот-вот расколет небо надвое.

2

В моём голосе не было ни торжества, ни грубости. Только гранитная твёрдость человека, который знает цену каждому слову. Обещания — валюта, единственная, которой я торговал. И я всегда платил по счетам. Особенно когда должник — она.

Я расстегнул молнию. Звук прорезал тишину подземелья — сухой, хирургический, как щелчок затвора, фиксирующий точку невозврата. Эхо скользнуло по влажным каменным сводам и замерло в темноте.

Сильвана закрыла глаза. Не от стыда. От жадности. Она впитывала каждый оттенок ощущений: звук расстегивающейся молнии, жар моей кожи так близко, дрожь собственных мышц от загривка до щиколоток. Всё складывалось в единый поток. Не гармонии. Правды. Жестокой, откровенной, нагой.

Мои ладони легли на её бёдра. Не властно. Не грубо. Утверждающе. Пальцы раздвинули её ягодицы медленно и уверенно, давая понять каждым миллиметром прикосновения: я здесь, ты в безопасности, даже когда больно. В этом жесте не было принуждения. Молчаливый пакт. Договорённость тел, заключённая задолго до слов.

В уголках моих губ дрожала кривая усмешка. Она ещё могла отказаться. Но не отказалась. Застонала — и не попыталась сопротивляться. Наоборот, бёдра подались ко мне. Значит, хочет этого так же отчаянно, как и я. Или делает вид, что хочет. Разница невелика, когда член уже у входа.

Я знал, что у неё не было мужчины. Ни одного, кроме меня. Я был её первым во всех смыслах. Первым, кто коснулся так. Первым, кто раздвинул ей бёдра и вошёл. Первым, кто вынудил тело ответить вопреки разуму. И теперь — первым, кто возьмёт её так.

Это знание прокатилось по мне волной — горячей, тёмной, почти невыносимой. Не нежность. Не жалость. Голод. Жадный, собственнический, звериный. Обычно мне плевать на такие вещи, более того, я не слишком любил возиться с девственницами из-за их неопытности, но сейчас…

Первый. Единственный.

Эта мысль отозвалась в паху тяжёлой, наливающейся пульсацией. Член дрогнул, стал каменным, до боли твёрдым. Я сжал её бедро сильнее, чем собирался, — до красных следов, которые останутся поверх уже расцветающих синяков.

— Теперь держись, — прошептал я ей в самое ухо. Губы задевали мочку. Горячее дыхание обжигало нежную кожу за ней. — Будет больно. Очень. Не сжимайся. Дыши. Я рядом, поняла, сучка?

Она не ответила. Только кивнула — коротко, судорожно. И я почувствовал, как она попыталась расслабиться. Мышцы под моими пальцами дрогнули, но не поддались. Сжались сильнее — тело отказывалось подчиняться разуму.

— Тише, — выдохнул я. — Я не разорву тебя. Если будешь слушать.

Я не врал. Я не собирался причинять ей вред. Не такой, который остаётся навсегда. Боль — да. Но не увечье. Это разные вещи, и она должна была понять разницу прямо сейчас.

Я вошёл. Медленно.

Головка упёрлась в тугое кольцо мышц, и на секунду я остановился, давая ей прочувствовать давление — неотвратимое, неумолимое, но не грубое. Её тело отозвалось мгновенно: спина выгнулась, пальцы впились в камень, из горла вырвался звук — не крик, не стон, а что-то между, хриплое, рваное.

Я не двигался.

— Дыши, — приказал я низко. — Медленно. Выдохни.

Она выдохнула — длинно, с дрожью, и я почувствовал, как мышцы чуть поддались. Всего на миллиметр, но этого было достаточно. Я надавил сильнее.

Головка прошла.

Сильвана вскрикнула. Резко, отрывисто. Звук ударился о каменные своды и рассыпался эхом. Я почувствовал, как её тело содрогнулось всем весом, как она вцепилась в ремни, как мышцы сжались вокруг меня — туго, горячо, невыносимо узко.

Я замер. Дал ей секунду. Две. Три. Она дышала рвано, со всхлипами, но не отстранялась. Не просила остановиться. Её тело дрожало, но бёдра — бёдра, чёрт возьми, — подались назад, насаживаясь глубже.

— Вот так, — прошептал я. — Хорошая девочка.

Я вошёл глубже. Медленно, неумолимо. Сантиметр за сантиметром. Давая ей почувствовать каждый миллиметр вторжения — как он растягивает, заполняет, разрывает изнутри то, что никогда не знало чужих прикосновений.

Она стонала. Низко, гортанно, с болью и чем-то ещё, что уже начинало проступать под ней. Я слышал это — как её страдание плавилось, смешивалось с возбуждением, как дыхание меняло ритм, становилось глубже, жарче.

— Больно? — спросил я, хотя знал ответ.

— Да, — выдохнула она.

— Хочешь, чтобы я остановился?

Пауза. Долгая. В ней билось только её сердце — быстро, отчаянно.

— Нет.

Уголок моего рта дёрнулся.

— Умница.

Я вошёл до конца.

Она вскрикнула снова — на этот раз громче, протяжнее, и этот звук прошёл сквозь меня, как ток. Я почувствовал, как её внутренности сжались вокруг меня — тугие, горячие, пульсирующие. Как она дрожала, прижатая к дыбе, мокрая от пота и крови, и как между её бёдер текло — не только от боли, но и от желания, которое она больше не могла скрыть.

Я не двигался. Дал ей привыкнуть. Почувствовать меня целиком — как я заполняю её до предела, как растягиваю, как пульсирую внутри. Мои ладони легли на её талию, удерживая на месте, не давая сбежать.

— Первый раз — всегда самый сложный, — произнёс я негромко. — Но потом тело учится. И тогда боль становится… другой.

Я провёл ладонью по её пояснице. Осторожно, но не нежно — по краю ран, не касаясь их, но заставляя кожу вспоминать.

— Ты уже чувствуешь это, да? — спросил я. — Как жар поднимается. Как низ живота наливается тяжестью. Как хочется, чтобы я двигался, даже если больно.

Она не ответила. Но её бёдра качнулись — едва заметно, инстинктивно.

И я понял: пора.

Я начал двигаться. Медленно. Размеренно. Каждый толчок — выверенный, глубокий, но не рваный. Я выходил почти полностью, оставляя внутри только головку, и входил снова — плавно, но неотвратимо, заставляя её чувствовать каждую секунду.

Она стонала. Сначала тихо, сдавленно, потом громче, откровеннее. Её тело училось. С каждым движением мышцы поддавались всё легче. Сопротивление таяло, сменяясь чем-то другим — влажной, жадной податливостью. Она уже не просто терпела. Она принимала.

— Вот так, — прошептал я. — Чувствуешь, как расслабляется? Как становится легче?

Она всхлипнула. Кивнула.

— Молодец. А теперь — глубже.

Я ускорился. Толчки стали резче, жёстче, но всё ещё под контролем. Я не хотел ломать её — только переплавлять. Каждый удар отзывался в её теле не только физически, но где-то глубже, там, где боль и удовольствие давно перестали быть антонимами, слившись в единый раскалённый поток.

Я чувствовал это сквозь кожу: пульсацию крови в её ранах, жар под моими ладонями, нарастающую внутри неё волну. Огромную, тёмную, живую.

Вот она, суть. Не покорность. Слияние.

Моя ладонь скользнула вниз, между её бёдер. Пальцы раздвинули влажные складки. Она была мокрая — не от смазки, не от слюны, а по-настоящему. Горячая, истекающая. От боли. От меня.

Не прекращая двигаться сзади, я ввёл в неё два пальца. А большим — медленно, с нажимом — накрыл клитор.

Сильвана крикнула. Не от боли. От удовольствия. Пронзительного, ослепляющего, почти невыносимого в своей полноте. Её тело содрогнулось, выгнулось, прижалось ко мне. Я почувствовал, как внутри неё всё сжалось — не только вокруг члена, но и вокруг пальцев. Как клитор запульсировал под моим пальцем, набухший, требовательный.

— Тебе нравится, — произнёс я. — Скажи это.

Она замотала головой, но с губ сорвался стон — низкий, гортанный, полный стыда и наслаждения.

— Скажи, — повторил я, ускоряя движения пальцев. — Скажи, как тебе нравится, когда я трахаю тебя в задницу. Когда в тебе мой член и мои пальцы. Когда боль становится удовольствием.

— Мне… нравится, — выдохнула она. — Нравится…

Голос был сломленным, рваным, полным слёз и жара. И я понял: она проиграла. Но не мне. Себе. Той, кем она была. Той, кем боялась стать. Теперь — стала.

Я ускорился. Рука спереди двигалась резче, увереннее. Настойчиво, как пульс, задающий ритм всему телу. Толчки сзади усиливались, углублялись.

Сильвана кричала — не от боли, не от стыда, а от чего-то большего. От того, что разрывалось внутри, выплёскивалось наружу, сметая все барьеры. Она выгибалась навстречу, пытаясь слиться, раствориться, перестать существовать отдельно. Её стоны становились громче, протяжнее. Тело дрожало, как струна перед срывом. Я чувствовал, как внутри неё всё сжималось, пульсировало, набухало.

— Давай, — прохрипел я ей на ухо. — Сейчас. Кончай. Покажи мне, какая ты сучка.

Эти слова сломали последнее сопротивление.

Она закричала. Громко, протяжно, с хрипом. Её тело содрогнулось всем весом, спина выгнулась дугой, бёдра вжались в меня. Я почувствовал, как внутри неё всё сжалось — туго, горячо, невыносимо, — и как волна прошла сквозь неё, от затылка до пяток.

Она кончала. Долго. Глубоко. Судорожно.

И я держал её, не давая упасть, чувствуя, как её оргазм пульсирует вокруг меня, как её тело содрогается, как из горла вырываются звуки, которые она никогда не сможет забыть.

Я кончил следом. Ещё несколько резких толчков — не грубых, но властных. Последний аккорд. Мир на секунду остановился. Тени застыли. Пламя перестало дрожать. А потом — взрыв.

Я излился в неё, чувствуя, как сперма заполняет её изнутри, как мышцы сжимаются, вытягивая из меня всё до капли. Горячо. Густо. До дрожи в коленях.

И в тот же миг мои губы оказались на её плече. Не поцелуй. Не ласка. Инстинкт. Зубы сомкнулись на горячей, влажной коже. Коротко. Жёстко. Точно.

Она вздрогнула, выдохнула резко, сквозь зубы. И этот звук прошёл сквозь меня. На коже проступил след. Тонкий, алый, чёткий.

Подпись под договором, который мы не обсуждали. Который не нуждался в словах. Моя метка. Чтобы помнила. Чтобы каждый раз, касаясь этого места, чувствовала мои зубы. Чтобы знала, кому принадлежит.

Я медленно вышел. Она застонала — теперь уже от пустоты, от того, как её тело отпускало меня, как мышцы сжимались в последний раз, словно не желая расставаться.

Я смотрел на неё: на израненную спину, на тёмные разводы на бёдрах, на влажный след, который тянулся по внутренней стороне её ног. Моя сперма, её кровь. Всё смешалось в одном извращённом, бесстыдном, животном союзе.

Воздух пах железом, сыростью камня, горелым маслом факелов. И под всем этим, глубоко, тяжело, — запах секса. Тёмный и животный, пропитавший каменные стены так глубоко, что они, кажется, впитали его навсегда.

Я наклонился к её уху.

— Твой отец молится, чтобы я тебя не тронул, — прошептал я. — А я только что трахнул его дочь в задницу. Первый раз. Ты отдала мне то, что не отдала бы даже мужу. Забавно, правда?

Она не ответила. Только дыхание — рваное, горячее, полное того, чего нельзя выразить словами.

Я медленно поднял взгляд.

Сильвана стояла, запрокинув голову. На ногах её удерживали только ремни дыбы. Колени чуть согнуты. Бёдра раскрыты. Грудь тяжело вздымалась. Дыхание прерывистое, хриплое, с присвистом. Капля пота скатилась по виску, прочертила линию вдоль скулы, соскользнула на плечо. В свете факелов раны отливали тёмно-багровым.

Её глаза.

Я смотрел в них — и не узнавал. Ни страха. Ни мольбы. Ни отчаяния. Зрачки расширены, радужка почти чёрная в полумраке. И в этой черноте горело что-то новое. Глубокое. Опасное.

— Ты в порядке? — спросил я.

Ровный, почти равнодушный голос. Но оба знали, что вопрос не о теле.

Она не ответила. Только чуть приподняла подбородок и улыбнулась краем рта. Едва заметно.

Она изменилась.

Мысль пришла с циничным спокойствием, привычным, как запах крови в этих стенах. Но по моей спине пробежала лёгкая, предательская дрожь. Её кожа, расчерченная ранами, больше не казалась изувеченной. Она казалась освящённой. Каждый шрам — знак посвящения. Каждая алая линия — строка молитвы на языке, который понимали только двое.

Я протянул руку. Кончики пальцев коснулись свежей метки на её плече. Нежно. Почти благоговейно.

Она не отстранилась. Только закрыла глаза. И по её телу прошла дрожь — тонкая, глубокая, как послезвучие колокола в пустом храме.